



**Мечеть
Парижской
Богоматери:
2048 год**

Елена Чудинова

Елена Чудинова

**Мечеть Парижской
Богоматери: 2048 год**

«Издательские решения»

Чудинова Е.

Мечеть Парижской Богоматери: 2048 год / Е. Чудинова —
«Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-966796-0

Эта антиутопия, с успехом дебютировавшая осенью 2005 года в Москве и весной 2009 года в Париже, на данный момент переведена на семь языков. Явившись первой книгой, с яростной остротой предупредившей европейский мир об опасности экспансии радикального ислама, «Мечеть Парижской Богоматери: 2048 год» не только ужасает, но и содержит ответ: что европейцы могут сделать, чтобы предотвратить свое страшное завтра.

ISBN 978-5-44-966796-0

© Чудинова Е.
© Издательские решения

Содержание

Пролог	6
ГЛАВА I	9
Последний шоппинг Зейнаб	9
ГЛАВА II	24
Валери	24
ГЛАВА III	34
Слободан	34
ГЛАВА IV	42
Исповедь без конфессионала	42
Конец ознакомительного фрагмента.	50

Мечеть Парижской Богоматери: 2048 год

Елена Чудинова

*Автор выражает сердечную
признательность всем, кто
содействовал и сопереживал
написанию этой книги*

© Елена Чудинова, 2019

ISBN 978-5-4496-6796-0

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Пролог

За сорок шесть лет до

До двенадцати лет Соня любила Англию, чьих булыжников касаются сейчас подошвы ее кроссовок. С двенадцати по тринадцать она не любила ничего и никого – даже папу, который оказался никудышным волшебником – она плакала, кричала, звала, а он все не шел, все не спешил подхватить ее на руки, унести прочь, домой, жестоко наказать *их*. Прежде он мог все, он заваливал ее комнату одетыми в самые разные наряды клонами Барби, которых она терпеть не могла, покупал средневековую серию «Лего», которую она обожала; он обещал отвезти ее в Англию на каникулы, он спасал от школьных неурядиц и сновиденных кошмаров – а когда начался кошмар наяву, он оказался возмутительно не всемогущ. Еще год понадобился на то, чтобы простить папу и полюбить снова. Для этого ей пришлось стать взрослой, совсем взрослой, самой загасить последние отблески детской теплой реальности, в которой папа был больше и сильнее всех. Простить его иначе не получилось бы никак, ее ни в чем не виноватого отца, так отчаянно быстро переставшего быть и молодым, и красивым.

Отец стоял в толпе рядом с Соней, обнимая ее за плечи, для чего приходилось изрядно наклоняться вправо. За последние три года Соня почти не выросла. К двенадцати годам она дотянулась до метра сорока восьми сантиметров и обещала тянуться дальше, пусть не до топ-модели, но несомненно до метра шестидесяти пяти, как была ее мама. Сейчас, в пятнадцать, в ней был метр пятьдесят. Витаминные упаковки всех цветов радуги не слишком помогали. Отец смотрел, как Соня, припрыгивая, вытягивается на носках, чтобы не упустить из-за спин шумных и веселых людей с видео и фотокамерами, глянцево благополучных людей с черными шарами микрофонов, момента, когда двери на широкую лестницу растворятся. Ведь Соню не пустили внутрь.

Как он хотел бы увести ее прочь, с этой жемчужно-серой, обернутой зеленым бархатом газонов, грациозно старинной площади, когда-то украшавшей страницы первых Сониных учебников английского языка. Он сам занимался с ней английским, отрывал по получасу, не от бизнеса, конечно, но хотя бы ото сна. Знать язык научит и дорогой репетитор, но вот любить, хвататься за грамматику самой – ну нет, такое репетитору слабо. Их черед второй, шлифовать, углублять. Конечно, дочь должна выучить язык лучше, чем знает он, его-то родители подумать не могли, что их ребенок увидит Англию. А он совершенно уверен, Соня не только увидит веселую страну много раз, но сможет, если захочет, иметь в ней старинный дом, увитый плющом, в тюдоровских крестах балок или с респектабельным георгианским фасадом – уж как ей захочется. Для кого ж он сам не успевает и замечать тех радостей, что способны дать в жизни деньги. Но теперь Соня не станет жить в Англии, едва ли она даже захочет побывать здесь еще. Он не вправе увести ее прочь, но лучше б и сейчас ей здесь не быть, не разглядывать сузившимися в ледяные щелочки глазами лиц соотечественников – и русских, и евреев, что еще обиднее, хотя он для себя уже давно не одной с ними крови. Сейчас ему родня лишь те евреи, что не соотечественники, во всяком случае пока. Как часто он об этом думает: продать дело, взять Соньку и махнуть за тридевять земель. Быть может, там не самое спокойное место, но ей там станет спокойней, особенно когда она пойдет через три года в армию, как все тамошние девчонки. Но только вот *возьмут ли* ее в армию? Очень даже вопрос. Нет, лучше оставаться дома, благо что-то начало меняться вокруг. О чем он сейчас, да неважно о чем, важно одно: он не вправе увести ее отсюда, подальше от этих лиц, а ведь она всех их знает, она смотрит по телевизору все новости, а не музканалы.

Соня действительно знала их всех, вот только даже по телевизору никогда не видала прежде в одной куче. Они сбились вместе, под жадными до зрелищ стекляшками камер, возбужденные, как болельщики после матча. Вот этот примчавшийся сюда по первому свистку

депутат с деревенской физиономией, одно время пытавшийся сыграть в предвыборных клипах на своем деревенском же имени: то вместе с буренками, то с «мамой» в старомодном ветхом шушуне и козьем платочке. Рассказывают, что когда Соня была маленькой, он хуже, чем обокрал сотню ее детдомовских сверстников. Сотрудники посольства в Америке целую ночь паковали гуманитарную помощь, чтобы загрузить удачно подвернувшийся пустой самолет, который он гонял на государственный счет для себя одного. Но поутру депутат выбросил ящики прямо в аэропорту – ему нужно было погрузить приобретенную для своего загородного дома сантехнику. Говорят, что об этом даже писали в газетах, но он превосходно остался депутатом. «Нашим детям не пристало принимать заграничные подачки!» – заявил он по телевизору, когда журналисты пристали с вопросами. Сюда он прилетел проверять, хороша ли тюремная камера, все ли в ней удобства довольно комфортабельны для своего постояльца. «Там ничего, все у него вполне благоустроено, душ вот, телевизор», – поделился он с журналистами, помогая своей убогой речи руками – изображал, где что стоит.

А вот эта высокая худая женщина с модной стрижкой на седых волосах, она как раз журналистка. Только она не берет сейчас ни у кого интервью, а дает их сама. Она в сотый раз рассказывает, как сидела в деревянном сортире, а солдаты подкрадывались сзади, надо думать, из выгребной ямы, и рассказывали ей, как они не хотят здесь воевать, но боятся начальства. А *их* совсем не боятся, *они* добрые и хорошие. А вот Коля, который неделю просидел с Соней в одном погребе, Коля ни за что не стал бы подползать под тот сортир. Он совсем не походил на героя, скорей на старшекласника, надевшего великоватую солдатскую форму. Соню он называл сестренкой и пытался научить по памяти играть в «Цивилизацию», без компьютера, это он еще до плена наловчился. «Коль, ты правда так веришь в Бога?» – не удержалась Соня, узнав, в чем дело. «Ох, сестренка, да если бы, – Коля пропустил через пальцы цепочку нательного крестика. – Так, ходил с парнями на Пасху, крестный ход ночью смотреть. Красиво, конечно. А крест-то мне тетка надела, перед самым призывом. Говорила, убережет. Ну, не уберег, как видишь». – «Тогда *почему?*» – «Потому, сестренка, что если *им* так хочется, чтоб я его сам с себя снял, значит никак нельзя снимать. Значит, в нем больше смысла, чем я думал, когда был дураком счастливым. А катапульту ты изобрести не можешь, ты не открыла математику!». А потом Колю... А за свое сиденье в сортире журналистка получила премию, даже если вообще никто под него не лазил.

А рядом с ней... этот тоже журналист, но Соня видела его не по телевизору. Похожий на карлика, на мальчика-переростка со слишком большой очкастой головой. Он много снимался *с ними* на видеокамеру, как же Соня теперь эти камеры ненавидит! Ту, что была дома, папа выбросил, прямо на помойку, на радость кому-то, кто не знает, что в видеокамере ничего хорошего нет. А этим под ними приятно, они так и стараются сейчас попасть в кадр. Так и лезет поближе к объективу невероятно толстая тетка, похожая на раздувшуюся жабу. Другая бы при такой толщине стеснялась сниматься, но эта, как откуда-то знает Соня, безумно нравится себе такой, какая она есть: с толщиной, с тремя подбородками, с сальной каштановой челочкой, налезавшей на очки. У нее очки в толстой темной пластмассе, а вот у изящного старичка, что галантно поддерживает ее под локоток, они в тонкой металлической оправе. В другой руке у старичка слишком уж нарочито потрепанный портфельчик старомодного фасона. Лицо честное и одухотворенное. Костюм уютно пузырится в коленях – добрый дедушка, навстречу которому внуки мчатся наперегонки. Когда представители одной из многих общественных организаций, чьи аббревиатуры Соня не успевает запоминать, устроили его встречу с девочкой, он задремал во время ее рассказа. Ему было скучно. Он тоже здесь, да и как же без него.

Двери распахиваются, по толпе пробегает волна. Соня не слышит слов, которые кто-то кричит вниз, да их и не надо. Актриса кино, идущая под руку с элегантно стройным красавцем, сияет. Ее рука в зеленой перчатке касается лиловых губ и разбрасывает от них поцелуи. Десятки поцелуев. Старичок рукоплещет, рукоплещет толстуха, рукоплещет карлик, рукопле-

щет журналистка, рукоплещет депутат. Камеры движутся, микрофоны лезут вперед. Спутник актрисы не так явно выказывает удовольствие, лишь ухмыляется в щегольски подстриженную бородку, в подбритые усы. Но ему приятно быть в центре внимания, ведь он и сам немного актер.

– Папа, – шепчет Соня, – они победили, слышишь, они победили!

– Детка, мы же знали это заранее, – отец пытается прижать ее лицо к груди, но Соня вырывается и смотрит. – Не будь они куплены, они бы дали тебе свидетельствовать.

Актрисе жарко, она распахивает манто, спускаясь по ступеням. Освежающий ветерок колышет ее волосы, высветленные в цвет лимонной корки. (Увы, только юность может позволить себе быть неброской!) Она не слишком высоко ставит всю эту бьющую в ладоши компанию, хотя через несколько шагов и раскроет им картинные объятия. Все это, честно говоря, второй сорт, как ни выслуживайся перед цивилизованным обществом. Это все – вчерашний *sovok*, а не горделивые избранники, рожденные в колыбели либеральных ценностей. И за свободу ее спутника, на чью руку ей так приятно сейчас опираться, они бились не за просто так, они отработывали деньги, понятно, не его личные, но все ж он – хозяин, а они – *shesterki*. Само собой, их даже рядом нельзя поставить с ней, защищавшей справедливость и... любовь. Это вроде бы держится в секрете, но ведь все знают... Как ей приятно сейчас ощущать, что ее тело, истыканное уколами гормонов, простеганное золотыми нитями, десять раз перекроенное, но все же предательски увядающее, вызвало страсть у этого цивилизованного внешне, но столь восхитительно brutального мужчины. Если, конечно... Она давит в себе неприятное подозрение. Конечно, он ею увлечен, она ослепила, потрясла его, таких, как она, нет в его стране покорных женщин, скрывающих под кучей нелепой одежды все, что можно скрыть. А если что-то и правда из всего, что эти русские оккупанты пытались выставить на суде, так ведь русские сами виноваты. Зачем они воюют с маленьким гордым народом, со свободолюбивыми детьми диких гор... Их историческая вина так огромна, что стоит ли удивляться каким-то единичным случаям жестокости? Женщина отгоняет докучливую мысль, быть может потому, что не хочет признаться себе, что ее на самом деле физически возбуждают подозрения в правдивости некоторых выставляемых против ее избранника обвинений.

Итак, любовь восторжествовала. Что ж, сегодня он отблагодарит ее, она так красиво за него сражалась. Она выглядела настоящей героиней собственных фильмов. Очень, кстати, неплохая рекламная акция, ведь она, увы сейчас нуждается в рекламе. Нет, прочь, прочь все грустные мысли, сегодня восхитительный день, день их победы!

Еще шаг до взаимных объятий – и актриса вдруг чуть спотыкается на ступенях. Рассеянный, сияющий ее взгляд сталкивается со взглядом темноволосой девочки в белой ветровке и темно-розовом комбинезоне, что стоит в толпе. Девчонка лет тринадцати, не старше, но, пожалуй, не поклонница. Очень уж странно она смотрит, едва ли ей нужен автограф. Глаза сощурены, но не от близорукости, взгляд колюч, как кусочки темного льда. На мгновение актрисе делается чуть холодно, она запахивается в мех.

Девочка в бессильном гневе сжимает руки. Пальцы впиваются в ладони – пять пальцев правой руки и три пальца левой. Двух недостает – они были отстрелены перед видеокамерой, чтобы отец-коммерсант побыстрее собирал деньги на выкуп ребенка.

ГЛАВА I

Последний шоппинг Зейнаб

Эжен-Оливье шел по Елисейским Полям быстрым шагом, настолько быстрым, насколько мог ему это позволить неудобный наряд. (С какой стороны посмотреть, в определенном смысле ничего удобнее не придумаешь). Он ни в коем случае не бежал, бегущий человек только привлекает к себе внимание, но его шаг был на самом деле скорее бега. Во всяком случае, мало какой бегун не остановится часов за шесть, а восемнадцатилетний Эжен-Оливье мог не присев обойти таким манером весь Париж. Вроде бы только что он миновал Люксембургский сад, а глядишь, уже и мост Инвалидов позади, и Елисейские Поля сверкают справа и слева стеклами магазинных витрин или подслеповато щурятся заложенными окнами жилых особняков. Но жилых домов на Елисейских Полях не очень много, больше торговых мест, вроде того, к которому он уже приближался.

Зейнаб вышла из дому пешком. Зейнаб никогда в жизни не слышала даже слова «импрессионизм», и уж само собой, как женщина из хорошей семьи, нигде не могла увидеть полотен либо репродукций этих непотребных живописцев, то есть даже тех из них, что уцелели. Поэтому та игра золотого и сизого свечения, в которой купается солнечным полуднем ранней весны Париж, едва ли могла увлечь ее воображение. Между тем легкий ветер гнал по Сене серебряную, свинцовую, пепельную рябь, серебрились белые стволы платанов, золотые огоньки играли на всем, что только способно давать отблеск, силуэты дальних зданий кутались в жемчужное марево. Но если бы хорошая погода оставила Зейнаб вполне равнодушной, она бы отправилась в автомобиле совершать свой шоппинг, а не совместила бы его с прогулкой. Забавное слово «шоппинг», устаревшее, из лингва-евра. Или даже из лингва-франка? Впрочем, неважно, откуда взялось слово «шоппинг», важно, чтобы муж не ограничивал на него в средствах. В женском отделении магазина на Елисейских Полях будет сегодня показ мод.

Не вполне прилично, конечно, ходить по магазинам одной, но даже благочестивая стража закрывает глаза на то, что это правило сплошь и рядом нарушается в очень богатых кварталах и в кварталах бедноты. С бедняками понятно – все мужчины в семье работают, куда женщина бегаёт по лавкам, выгадывая, в какой купить кусок баранины подешевле. Если хоть один из мужчин вместо заработка будет тратить свое время на соблюдение приличий, кусок мяса окажется слишком мал. С богатыми кварталами немного тоньше. Но ведь если нельзя капельку нарушить то, что непременно должны исполнять другие, так какое же удовольствие быть влиятельным человеком? Даже благочестивая стража понимает эту тонкость и спуску не дает людям обычным – не нищим, но и не высокопоставленным.

Конечно, перегибать палку не следует. Вот, например, Зейнаб не то чтобы вышла за покупками одна, но, коль скоро кади¹ Малик подъедет потом за нею к магазину, можно сказать, что она просто вышла навстречу мужу. Всего-то прошлась с бережной Орси через мост Эмиратов, а тут уже и Елисейские Поля.

На пересеченье с улицей Усамы Зейнаб с неудовольствием пропустила женщину, судя по всему, очень молоденькую, ткнувшую ее локтем. Куда только мчится в такой погожий денек, невежа! И походка такая некрасивая: скачет, как жеребенок. Очень не женственная походка.

¹ Судья (араб.)

Размышляя над походкой наглой особы, Зейнаб остановилась сама: как, однако, быстро роскошный магазин вырос перед нею, словно тоже не стоял на месте, а медлительной баржей плыл к женщине по волнам праздной толпы. По стеклам витрин бежали прозрачные радуги, привлекавшие внимание к тому, от чего и так невозможно было оторвать жадного взгляда: к костюмам-тройкам мягкой черной шерсти, к светлым курортным костюмам-парам шелкового льна, к белоснежным сорочкам шелкового поплина и тонкого полотна, к пестрым рубашкам поло, к кашемировым пальто, к ботинкам на кожаной подметке (а к ним удобно изогнутые костяные рожки), к сафьяновым вышитым туфлям, к запонкам и галстучным булавкам, к галстукам ручной работы, к тяжелым браслетам швейцарских часов, к перстням с печатками, к тростям с резными и инкрустированными набалдашниками, ко всему, чего только может пожелать в жизни мужчина.

Женское отделение, понятное дело, ничего не выставяло напоказ: тонированные стекла лишь отражали улицу. Но там, в их таинственной темноте, как в пещере Али-бабы, таятся куда более любопытные сокровища. А все же в такую погоду Зейнаб не так, как обыкновенно, спешит им навстречу. Собравшись к выходу в сопровождении отягощенных свертками приказчиков, надо уже будет звонить по сотовому телефону кади Малику. А там веселое утро глядишь и осталось за стеклами мерседеса. Стекла и в автомобиле, ясное дело, тонированные, смотри, сколько хочешь, хоть все глаза прогляди, никто не повернет в ответ лица. Ладно, еще минут пятнадцать можно и погулять, в крайнем случае она пропустит пару моделей на показе.

Как хорошо! Сегодня не раздражают даже нищие, привычно поскуливающие над своими площадками для подаяния. Не раздражают даже пронзительный визг и громкие крики играющих детей. Мягкая пита разевает белую пасть в проворных руках продавца, готовая наполниться острой и горячей своей начинкой, а через мгновение переключать в руки покупателей. Лоснится рассыпчатый кус-кус, прыгающий из котла по бумажным кулечкам. Мухи жадно кружат над пахлавой и рахат-лукумом, посетители уличных кафе неторопливо запивают пылающий черный напиток водой со льдом. Как же хороши весной Елисейские Поля!

А народ что-то спешит к Триумфальной Арке. Что бы там могло случиться любопытного?

Чуть не сбив с ног какую-то толстуху, Эжен-Оливье резко остановился под неоновой вывеской универсального магазина. Плохо, очень плохо! Раньше на лишние полчаса, чем надо здесь быть даже с самым большим запасом. Само по себе это полбеда, можно просто прогуляться до Триумфальной Арки, благо туда подтягиваются зеваки. Скверно другое – он плохо рассчитал время. Тот, кто пришел раньше, может и опоздать. Севазмиу всегда и везде появляется минута в минуту.

Когда-то, рассказывают, к Триумфальной Арке можно было подойти только по подземному переходу, ну да тогда и автомобилей в Париже было куда больше. Сколько помнил себя Эжен-Оливье, площадь вокруг Триумфальной Арки была пешеходным местом для народных гуляний. Перестраивать здесь что-то начали, что ли? По окружности близ Арки на равном расстоянии друг от друга выстроилось около десятка железных контейнеров, наподобие тех, что используют для мусора. Контейнер справа оказался с верхом наполнен камнями, а над таким же слева как раз опорожнял кузов небольшой грузовичок.

И еще один автомобиль не спеша ехал по пешеходной площади, но не рабочий, а полицейский, зеленого цвета, с отделенным от кабины коробом для перевозки арестованных. Эжен-Оливье насторожился было – и тут же невидимый учетчик, что всегда жил где-то внутри, подметил, что он не прав: никакая странность сейчас не должна его занимать. Вокруг хоть трава не расти, его дело – выполнять приказ. Он не любопытствует вовсе, а только притворяется любопытствующим, чтобы сгладить свое слишком раннее появление.

Эжен-Оливье догнал катящийся с черепашьей скоростью через толпу автомобиль, с демонстративным вниманием уставился на зарешеченную заднюю дверцу. За решеткой нахо-

дился человек. Зеленый пикап притормозил. Зачем этого беднягу сюда привезли? Тут же нету ни тюрьмы, ни суда.

Только сейчас бросились в глаза свежие афиши, расклеенные по стенам Арки и на круглых тумбах для объявлений. Ох, как неохота разбираться в противных червяках *их* букв! Да и не надо, вот тот араб, устроившийся на скамейке, как раз развернул еще одну афишу и явно собирается читать ее вслух кучке обступивших мальчишек и женщин. Прикинемся и мы неграмотными, подумал Эжен-Оливье, пробираясь в толпе.

– «Нарушал юридические обязательства, которые сам же подписывал при допущении к работе», – улыбаясь, читал араб.

– Это как понимать, господин Хусейн? – переспросила рослая женщина в голубой парандже. – Мудрено сказано!

– Гяур² обещал, тетушка Марьям, что весь выращенный на его земле виноград будет доставляться в цех для заготовки сухофруктов, – снисходительно пояснил читавший. – А сам вел фальшивый учет. На глю там списывал, на заморозки. Ну, утаивал часть винограда. Сама понимаешь, для чего.

– Неужто вино делал?! Ах, собака! – тетка всплеснула руками.

– Собака!

– Неверная собака!

– Теперь ему покажут вино!! Собака! – галдели подростки.

Полицейские выводили между тем арестанта. Это оказался старик, впрочем, еще *молодой старик*, полный сил, судя по походке и свежему загорелому лицу, худой, но жилистый, с железными мышцами, угадывавшимися под застиранной фланелью рубашки. Мешковатый джинсовый комбинезон его был потерт до белизны, а серая бейсболка выгорела на солнце так, что рекламу каких-то давно запрещенных спортивных состязаний уже весьма трудно было разглядеть. Крестьянин, понятно сразу, даже если б и не знать, что виноградарь. Куда его, однако, ведут, к какому-то дурацкому бетонному столбу, водруженному под сводом Арки. Еще недавно его тут не было.

– Кямран, эй, Кямран, сейчас начнется! – Подросток в пестрой гавайской рубашке, явно подкуренный, зачем-то кинулся к железному ящику и принялся загребать руками камни, один, два, несколько камней величиной с хорошее яблоко. Может, вправду решил, что это яблоки? Вон какие глаза белые.

Подросток, придерживая камни левой рукой у груди, правой продолжал хватать их. Неудачно нагнулся, камень упал на ногу. Вместо того чтобы выругаться от боли, парень, словно прислушавшись к чему-то, тихо улыбнулся. Ну и успел же ширнуться с утра.

– Да пусти уж, набрал! – Тетка в голубом, обойдя подростка, присборила складки своей паранджи на манер передника и тоже принялась собирать камни.

За нею уже торопились набить карманы штанов еще два мальчишки, помладше, толстяк, сжавший сигару одними зубами, чтобы освободить руки, совсем маленькая девочка с открытым лицом.

Ну не могли же они обкуриться все разом?

Эжен-Оливье лет с двенадцати считал себя солдатом, да, строго говоря, и был им. Именно поэтому он не побоялся честно понять то, что из гонора задрапировал бы более пристойными словами мирный обыватель: ему стало страшно.

Разгадка скакала мячом, не желающим попадать в сетку. Она была до того понятна, до того проста, что он видел ее, но все не успевал разглядеть. Успокойся, слабак! Надо взять себя в руки и немедленно понять, что происходит. Он же просто не хочет понимать. Так нельзя.

² **Примечания** *Гяур* – так же, как и *кафир* – в ряде языков мусульманских народов слово, обозначающее немусульманина, носит бранный характер.

Зейнаб колебалась. Ей тоже хотелось набрать камней, ладони она, допустим, может протереть влажной ароматической салфеткой, какие всегда носит при себе, но вот что станется с маникюром? Жалко ведь, только вчера делала, и такой удачный лак! Могли бы, между прочим, предоставлять за плату что-нибудь более удобное для почтенной публики. Да хоть те же камни в чистый целлофан заворачивать. Муж прав, клянчат увеличения социалки, жалуются на отсутствие заработков, а когда надо только вовремя подсуетиться, чтоб заработать, думают только о своем развлечении. Почему она либо должна ограничивать себя, либо уподобляться вон той беднячке в латаной-перелатаной сизой парандже?

Но беднячка, которой, строго-то говоря, и делать нечего в фешенебельном районе, так ревво запасалась камнями, что Зейнаб не выдержала. Пропадай он, маникюр, в конце концов в универсальном магазине можно его кое-как подправить в дамской комнате, а завтра она вызовет на дом свою мастерицу.

Полицейские уже защелкивали особые наручники, чтобы приковать старика к столбу. Эжен-Оливье, конечно, уже понял все, понял прежде, чем заставил себя вновь прислушаться к пересудам толпы. Совсем спокойный, мало, что ли, он успел повидать за восемнадцать лет, он стоял шагах в тридцати от приговоренного, когда вдруг случилось еще кое-что странное.

Вырвав с силой у полицейского руку, уже было притянутую назад, крестьянин (бейсболка слетела с его головы, и волосы, наполовину седые, наполовину русые, ворошил легкий ветерок) вскинул вдруг подбородок, словно с достоинством кивнул самому себе, поднес окольцованную сталью руку ко лбу, медленно коснулся лба концами пальцев, медленно повел ладонь вниз, к солнечному сплетению, от него – к левому плечу, от левого плеча к правому.

Старик перекрестился!

Это словно послужило сигналом. Полицейские еле успели приковать крестьянина к столбу, прочь они отбегали с довольно испуганными физиономиями.

– Бисмилла-а-а!!!

Несколько камней просвистело мимо, затем один ударил в щеку, чиркнул по щеке, как спичка о коробок, высекая кровь. Дальше ничего уже нельзя было разобрать, люди вопили, визжали, смеялись, камни летели тучей, сшибались, падали, градом молотили по асфальту.

– Иншалла-а-а!!!

– Смерть кафиру!

– Смерть псу!

– Смерть виноделу!

– Субханалла-а-а-ах!³

Эжен-Оливье заметил вдруг мальчика не старше трех лет, в пушистом белом костюмчике, в светлых каштановых кудряшках, уверенно ковылявшего вперед на толстых ножках – в ручках его был камень.

– А ты чего, ладони бережешь? – Парень в черной рубахе, меньше других опьяневший на вид, подступил к Эжену-Оливье. Похоже, из добровольцев благочестивой стражи. Надо уносить ноги, пока не поздно.

Беснованье толпы длилось не больше пятнадцати минут и стихло очень быстро. Окровавленное тело бессильно провисло на цепях. Камней было по колено. Скорее всего жизнь оборвалась раньше, чем камни перестали лететь.

³ Бисмилла – Во имя Аллаха, Иншалла – С помощью Аллаха, Субханаллаах – Вся слава Аллаху.

Зейнаб вытирала ладони благоухающей жасмином салфеткой. Один ноготь все же обломился, но маникюрша сможет осторожно подклеить пластиковую заплатку, под лаком будет незаметно.

Эжен-Оливье тихо выскользнул из толпы. Еще одна картина их жизни, всего лишь одна из десятков других. Еще одна смерть, одна из тысяч смертей. Ну чего уж тут какого необычного?

Покуда живы виноградники Франции, будут и тайные виноделы, будет черный рынок. А извести виноградники они не могут, очень уж они любят изюм, ни одно блюдо, кажется, без него не стряпают. Ну а коли черному рынку быть, то виноторговцев и виноделов будут ловить и мучить до смерти публично, по всем законам шариата. Но все-таки нечто зацепило его, нечто очень важное. Неужели это странно величественное крестное знамение, широкий взмах, пять пальцев, превратившиеся в символ пяти Христовых ран. Неужели еще остались верующие? Это лет-то через двадцать после того, как отслужена последняя месса!

Эжен-Оливье в Бога не верил, на то были причины семейного свойства. Семья Левек, добрый десяток поколений населявшая фамильный особняк в тихом Версале, относилась в прежние времена к властьпредержащим. «Мы, конечно, деньгократы, тельцекраты, – говаривал острый на язык дед Патрис, которого Эжен-Оливье никогда не видел. – Иной власти в республиках и не бывает. Но наш Телец, по крайности, племенной. Либералы изощряются в остроумии относительно наших ралли с пуантажем. В самом деле – тройная охрана и электроника, как в ЦРУ, – а чего ради? Чтобы в зал, где сотня подростков вихляется под рэп, не проник сто первый – которого нет в списке. Только пусть их смеются. Смысл ралли – примитивно матримониальный. Молодые деньги не смешают свою кровь с нашей, будь они хоть на порядок крупней нас. Дурачьё! Что такое их миллионы рядом с нашими тысячами? Если человек из наших споткнется, помочь ему встать будут протянуты сотни рук. А к ним разве что сотни ног – затоптать поглубже. И Веспасиан был дурень – деньги пахнут. А первичный крупный капитал – он еще и воняет. Деньги с самым пристойным запахом растут медленно. Да, только две вещи могут облагородить деньги. Первая – время. Деньгам, как хорошему вину, надлежит выстояться. Второе – традиции. Без власти традиций над собой мы – никто.

И в семье Левек была своя традиция. Надо признаться, что среди женщин монахини хотя и встречались, но не слишком часто. Мужчины же шли в духовенство совсем редко – уж слишком деятельно-земной характер несли гены. Однако, из поколения в поколение глава семьи, облаченный в стихарь поверх дорогого костюма-тройки, прислуживал на праздничных мессах в Нотр-Дам. Левеки были потомственными министрантами⁴ Нотр-Дам. Привилегия эта стоила недешево. Левеки всегда жертвовали на Нотр-Дам, на реставрационные ли работы, на благотворительность ли, на облачения ли клира. Это также было традицией.

Прапрадед, Антуан-Филипп, был министрантом во времена Второго Ватикана⁵. Многие давние, не в одном поколении, знакомые, ушли тогда, в семидесятые годы прошлого столе-

⁴ *Министрант* (лат. minister – прислужник, служитель) – в католицизме мирянин, помогающий священнослужителям во время богослужения.

⁵ ...во времена Второго Ватикана. – Второй Ватиканский Собор, проходивший с 1962 по 1965 гг., был созван для разработки и утверждения программы «обновления» Римско-католической Церкви. Многие принятые на Соборе положения предлагали курс модернизации догматических, канонических и обрядовых сторон католицизма и коренным образом отличались от положений традиционного католического вероучения. Собор провозгласил фактическое равенство католицизма с другими христианскими течениями, заложив основу для развития католического экуменизма (что означало практическое отрицание истинности самой Католической Церкви); признал достойными уважения и содержащими элементы святости и истины нехристианские религии (буддизм, ислам, иудаизм и даже язычество); декларировал право человека на религиозную свободу (тем самым сделав невозможным проведение и развитие миссионерства и христианской проповеди) и др. В богослужебном плане Собор санкционировал проведение литургической реформы, до неузнаваемости изменившей все католическое богослужение. Католики, несогласные с решениями Собора и проводимыми реформами и в той или иной степени отделившиеся от «официальной» Католической Церкви, получили название *традиционалистов*, или интегрисов.

тия, за седевакантистами⁶, которых возглавил Монсеньор Марсель Лефевр⁷. Люди традиционной закваски, даже и не слишком набожные, не смогли примириться с «демократизацией» мессы, с изгнанием латыни, с отменой старых алтарей. Многие, очень многие ушли тогда в раскол. Но не Левеки, хотя их сильнее многих выворачивало наизнанку от *Novus Ordo*⁸. Причина, заставившая Левеков остаться в лоне «обновленной» Католической Церкви, была проста и называлась Нотр-Дам. Его невозможно было бросить, как невозможно бросить в беде старого беззащитного друга. И Антуан-Филипп терпел – вместе с собором. Терпел пятнадцатиминутную «мессу», священника, вставшего лицом не к Господу, а к публике, терпел, когда раздавали в руки Святые Дары⁹. Терпела вся семья – с завистью просматривая видеозаписи «раскольничьих» литургий, которыми щедро делились друзья. «Мы можем убежать от модернистов, – говаривал Антуан Филипп, – но собор, собор не может этого сделать».

⁶ Юный Эжен-Оливье не вполне хорошо осведомлен в давних событиях. Архиепископ Марсель Лефевр никогда не возглавлял седевакантистов. Название этого направления говорит о том, что, в связи с еретической сущностью реформ Второго Ватиканского Собора, седевакантисты сочли Папский Престол «вакантным», то есть перестали признавать действующих пап. Между тем традиционалисты, получившие впоследствии название «лефевристов», отличались менее последовательной системой взглядов. Единоразово они и провозглашали современное папство впадшим в ересь, и вместе с тем продолжали его признавать. Вместе с тем среди многочисленных седевакантистских разветвлений католической оппозиции не нашлось фигуры, равной личным благочестием и харизматичностью Марселю Лефевру. Быть может, в силу этого движение традиционалистов было самым сильным и популярным. Но семьдесят лет спустя трудно ожидать, конечно, чтобы восемнадцатилетний юноша знал такие исторические тонкости.

⁷ *Лефевр* Марсель (1905—1991) – католический архиепископ, организатор и духовный лидер самого крупного движения в католическом *традиционализме*. Род. в глубоко религиозной семье. Его отец, промышленник Рене Лефевр, погиб в 1944 г. в концлагере, родной брат впоследствии стал священником-миссионером в Африке, а три сестры – монахинями. Начальное образование получил в иезуитском коллеже Св. Сердца, затем учился во Французской семинарии в Риме и папском Григорианском университете, которые он окончил со степенями доктора философии и доктора богословия. В 1929 г. рукоположен во пресвитера. С 1932 по 1945 г. служил и миссионерствовал в Габоне (Экваториальная Африка). В 1947 г. рукоположен во епископа и в 1948 г. назначен апостольским делегатом всей франкоязычной Африки. В 1955 г. стал первым архиепископом Дакарским (Сенегал, Западная Африка) – епархии, фактически созданной трудами самого Лефевра. Во многом благодаря организации Лефевром миссионерской работы число католиков-африканцев в Дакаре увеличилось на 2 млн.; число африканцев, ставших священниками, – почти на 1000. В 1962 г. монсеньор Лефевр покинул Сенегал, оставив своим преемником в Дакаре рукоположенного им епископа-африканца, и был назначен архиепископом-епископом Тюльским (Франция). Участвовал в работе *Второго Ватиканского Собора*, на котором возглавил группу противников «обновления» Римско-католической Церкви, настаивавших на сохранении традиционного католического вероучения и богослужения. В 1968 г. был вынужден уйти в отставку со всех постов, проживал на покое в Риме. По просьбе группы семинаристов, желавших получить традиционное (а не реформированное) католическое образование, в 1969 г. Лефевр основал *Священническое Братство св. Пия X* и открыл семинарии в Эконе (Швейцария) и затем во Флавины (Франция). Священники и семинаристы, вошедшие в Братство, отказались признать богослужебные и вероучительные реформы Второго Ватиканского Собора. В 1974 г. Лефевр подписал Декларацию, в которой заявил об отказе «следовать за Римом в его нео-модернистских и нео-протестантских устремлениях», но подчеркнул, что члены Братства не намерены отделяться от Папы и Католической Церкви. В ответ Ватикан запретил Лефевру рукополагать священников, чему он не подчинился. В 1988 г. ввиду своей старости и приближения смерти Лефевр и его соратник епископ *Антонио де Кастро-Майер* приняли решение рукоположить себе епископов-преемников. Не получив от Ватикана согласия на эти рукоположения, 30 июня 1988 г. Лефевр и де Кастро-Майер рукоположили 4 епископов для Братства без папского мандата. 2 июля 1988 г. папа Иоанн Павел II объявил об отлучении от Церкви Лефевра и его сторонников, однако сами «лефевристы» отказались признать законность этого отлучения и обвинений в расколе и до сих пор продолжают считать себя пребывающими в Католической Церкви.

⁸ *Novus Ordo* (лат. новый чин [мессы]) – официальное наименование нового чина мессы, введенного Папой Павлом VI в 1969 г. в рамках богослужебных реформ, начавшихся после *Второго Ватиканского Собора*. Наряду с католиками, в работе над составлением нового чина мессы принимали участие протестанты и англикане, в результате чего с точки зрения *традиционалистов* в новую мессу в скрытой форме было привнесено протестантское учение, отрицающее действительность присутствия Христа в евхаристическом хлебе и вине. Сам чин мессы был сильно сокращен и переделан, его предписали совершать лицом к народу и спиной к алтарю (в чем многие увидели сходство с «черной мессой» сатанистов), вместо сакрального языка – латыни – мессу стали совершать на современных народных языках. Зачастую совершение нового чина мессы сопровождается народными песнями и танцами, мирской музыкой (в том числе и рок-музыкой) и в целом больше походит на протестантские собрания, чем на католическую службу.

⁹ ...раздавали в руки Святые Дары... – после введения *нового чина мессы* в современной Католической Церкви широкое распространение получила практика раздачи в руки мирянам Св. Даров во время причащения, что противоречит канонам (согласно которым к Св. Дарам имеет право прикасаться только священнослужитель) и общей практике Православной и Католической Церквей.

Последним министрантом Нотр-Дам был как раз Патрис. Деду было пятьдесят лет с небольшим, когда ваххабиты ворвались в собор крушить скульптуры и кресты. Священник, служивший в тот день, торопливо скинул в ризнице нейлоновую накидку, изображавшую ризу, надетую поверх альбы¹⁰; в действительности к красной ткани был пристрочен сверху белый воротник, а по бокам пристегивались белые нарукавники. Но ткань была красная: праздновалась память мученика. Мучеником священник стать не захотел, отшвырнул облачение, выдернул из ворота синей рубашки белую пластиковую вставку, выскользнул из ризницы, устремился к выходу. Его никто не удерживал. Да и вообще все внимание ваххабитов было занято Патриком Левеком, вставшем на их пути со смехотворным оружием в руках – палкой с крюком, ею обыкновенно поправляли высоко расположенные драпировки. Двоих или троих он оглушил по головам, кого-то отбросил колющими ударами. Всего схватка длилась не более нескольких минут, а затем дед, с перерезанным от уха до уха горлом, упал, обогрив кровью подножие Божьей Матери, той, что, говорят, протягивала Младенцу каменную лилию. (Теперь уже, когда статуи разбиты, и не узнаешь, вправду ли Младенец тянул ручки к цветку Франции, или сочилось для красоты после).

Детские годы Эжена-Оливье были наполнены этой картиной: министрант, умирающий в бессмысленном заступничестве за Нотр-Дам, и священник, на бегу выдирающий дрожащими пальцами пластик из воротника, быть может, незаметно швырнувший затем под ноги опасную маленькую полоску – вместе с саном.

Эжен-Оливье не мог бы объяснить себе, отчего не горечь от страшной смерти деда, а всего лишь мысль о священнике-предателе наполняет яростным протестом каждую его мысль о Боге. Нет, разве Бог есть? Есть только черти, а на этих чертей есть окорот. Рука невольно нащупала тайный карман, нашитый в дурацкой одежде. Оно на месте. Единственное, во что он верит.

Приятно взбудораженная, Зейнаб наконец погрузилась в прохладу большого магазина, словно в огромный аквариум, струящий волны ласкающего полумрака. Полутемным, конечно, освещенное сотнями ламп помещение казалось только вошедшему из сверкающего солнцем утра. Пушистое ковровое покрытие мягко оплело немного уставшие ноги.

– Госпожа желает пройти на показ мод? – угодливо осведомилась продавщица в серо-фиолетовом (фирменный стиль магазина) хиджабе. – Только что начался, в зале есть удобные места.

Зейнаб с удовольствием прошла через раздвинувшиеся стекла дверей в небольшой уютный зал, где вокруг подиума сидело уже десятка четыре женщин. А вон и Асет, как раз рядом с ней свободное кресло.

– Уже скупила всю коллекцию или половину, так и быть, оставила мне? – шепнула Зейнаб на ухо подруге, усаживаясь.

– Как ты меня узнала? – Асет хихикнула через вязаную крючком решеточку. Вопрос был задан не всерьез: молодая женщина превосходно знала, что второго такого золотисто-песочного наряда ни у кого в зале нет. Плотный шелк, натуральный, из шелкопрядов, есть же вещи, которые трудно купить даже в Париже.

Ведущая между тем уже объявляла в микрофон демонстрацию модели «Первая роза». На подиум, щеголяя ровным искусственным загаром, выбежала девушка в черных с золотой искрой брючках, коротких, выше шиколотки, и такой же разлетайке, открывающей живот. Накинутый поверх жилет из темно-красного крепдешина, без застежек, стелился, подчеркивая порывистые движения. Накрашенные темно красным губы отчетливо подведены почти черным

¹⁰ *Альба* (лат. *alba* – белая) – длинное льняное облачение белого цвета с узкими рукавами, надеваемое под ризу. В современной практике Римско-католической Церкви вместо альбы зачастую надевают только белые манжеты и воротничок.

карандашом, в черных волосах укреплена красная крепдешиновая роза, «роняющая» в изгибы локонов лепестки.

– Ах, как чувственно! – с огорчением воскликнула Асет. – Но это только на яркую брюнетку!

Да уж, от Асет, с ее белобрысыми волосами, муж убежит, напяль она такой наряд. Право слово, талак¹¹ сделает! Надо будет непременно купить, уж Зейнаб-то может порадовать кади Малика такой яркой красотой. А полнота ничего не портит, манекенщица тоже не худышка. Купить и похвастать потом перед Асет.

Зейнаб взглянула на подругу снисходительно, как, впрочем, поглядывала часто. Асет все-таки правоверная только в первом поколении, из богатой семьи франкских промышленников, которая успела обратиться пораньше других. Дружны они с детских лет, и Зейнаб, конечно, знает все, как говорится на лингва-евро, скелеты в шкафу из дома подруги. Старая злая бабка, умершая всего пять лет назад, упрямо называла внучку Анеттой. Даже при одноклассниках! Вот позорище, Асет то пыталась отвлечь внимание девчонок на свои игрушки, то принималась орать на бабу, привычно уворачиваясь от тумачков. Потешно было. Так что, как ни крути, Асет даже какой-нибудь турчанке не ровня, не то, что женщине из настоящей арабской семьи. Чего-то нет в этих обращенных, нет и никогда не будет. На словах они ой-ей-ей, а как взять в руки камень и кинуть в кафира, так начинаются ужимки и отговорки.

Эжен-Оливье, по привычке беззвучно шевеля губами, повторил все инструкции Севазмиу. Обычно он проговаривал все от слова до слова каждый час, но в этот раз – чуть не каждые полчаса. Не то чтобы он опасался что-то забыть, просто было приятно, повторяя, вновь вызывать в памяти голос, интонации, глаза, движение руки с папиросой. Не так уж часто доводится получать распоряжения запросто в разговоре с Севазмиу. Чувство, испытываемое им, можно было бы назвать влюбленностью, но оно не было ею. Это было то особое, ни с чем не сравнимое чувство обожания, которое человек способен испытывать лишь в юности, когда душа растет, впивая идеал, обожание, не ведающее возраста и пола, бесплотное и неистовое, более родственное смерти, чем жизни.

Сверкающий фиолетовый мерседес плавно вписался перед универсальным магазином. Кади сидел за рулем сам. То, что он любит водить новые автомобили, было известно заранее. Но шофер есть, а значит, мог бы как раз сегодня оказаться при исполнении своих обязанностей. А в этом случае пришлось бы ретироваться не солоно хлебавши. Шофер всегда еще и охранник, может, конечно, прощелкать все время ожидания фисташки, но может и проверить лишний раз автомобиль. А невзорванная штука – вещь дрянная, и отпечатки пальцев на ней, и много чего еще. Можно сказать, она просто оклеена визитными карточками. К тому же следующая попытка будет тогда вдвое труднее, ровно вдвое. Впрочем, что зря думать, сегодня этот тип один.

Кади не без труда выволок тучное тело из автомобиля. Зрение Эжена-Оливье сделалось вдруг необычайно четким, как уже бывало и раньше. Словно совсем близко, ближе вытянутой руки, он видел округлое лицо, покрытое курортным загаром, (неделю назад кади вернулся из Ниццы), ухоженную бородку, тонированные очки в тонкой золотой оправе, тридцать два неправдоподобно роскошных фарфоровых импланта, открывшихся в непроизвольной улыбке довольства. Кади Малик улыбался.

¹¹ *Талак* – слово-формула развода в исламе: будучи трижды произнесенным мужем вслух, это слово делает развод свершившимся фактом.

Кади Малик улыбался. Честно сказать, не прошло и часа, как он сказал «талак» аппетитной штучке, с которой четыре часа назад заключил брак через имама. Штучку, как бишь ее звали, приятели по клубу нахваливали не зря. Резвая рыжая девка с голубыми глазками и курносый носиком, округлая, но упругая, никакого сравнения с телесами бедняжки Зейнаб. Ведь вроде и не намного толще, но не в толщине дело. Ляжки, ягодицы – кисель, колыхаются под рукой, словно плоть медузы. И привлекают не больше этой морской твари. А у той, ах... Сколько ж ты лакомств скушала, негодница, чтобы наесть такой роскошный зад?

Зато теперь не жаль тратить время, тащиться за женой в магазин. Зейнаб тоже должна получить свое. Никакие тряпки уже не сделают ее краше в глазах мужа, но ведь тряпки радуют женщину и сами по себе. Пусть радуется. Разумный человек дорожит миром в своем доме и снисходит до знаков внимания к жене.

Эжен-Оливье заставил себя прервать бесконечно долгое мгновение. В действительности он разглядывал кади Малика не более нескольких секунд. Все, пора! Пять, четыре, три, два, один, пошел!

Кади Малик поморщился, затворяя дверцу автомобиля. Какая-то молоденькая, судя по резким движениям и нескрываемой даже одеяньем худобе, девчонка, заглядевшись на витрину, уронила кошелку с провизией. Белые кубышки чеснока так и запрыгали по мостовой. Вот дура! Что ей тут вообще делать, с этими ее грошовыми покупками? Небось битый час тарасилась на витрину, с которой ей в жизни ничего не купить, а семья ждет между тем обеда!

Несколько головок закатилось прямо под колеса автомобиля. Женщина полезла за ними. То-то же, собирай теперь! Другой бы, конечно, нарочно наступил пару раз на жалкую снедь, но кади Малик только отшвырнул носком ботинка помидор, валявшийся уж прямо на дороге.

Несколько парней остановились, смеясь. Женщина торопливо складывала свои покупки обратно в сумку.

Тонированные двери начали было раздвигаться, но кади остановился, с досадой хлопнув себя ладонью по лбу. Угораздило же забыть мобильник! Да, так он и оставил телефон висеть на головном обруче. Поленился бы возвращаться, когда б не ожидание того звонка из Копенгагена. Каждая минута может стоить больших денег, биржевые котировки не ждут.

Давешняя нескладеха испуганно шархнула в сторону. Телефон, кажется, уже звонил. Кади Малик торопливо утопил рычаг в ручке, залез обратно. Он мог бы, конечно, и не залезать, мог бы не закрывать дверцы изнутри, мог бы просто сорвать попискивающий мобильник и разговаривать уже на ходу. Конечно, мог бы, и такой выбор подарил бы уважаемому кади шестнадцатого округа города Парижа лишних полчаса жизни. Но он предпочел вновь усесться на отделанном крокодиловой кожей удобном сиденье, а дверцу притворить.

Эжен-Оливье нажал кнопку пульта.

Собеседник из Копенгагена долго не мог понять, почему ответом на довольно важную информацию последовало отключение телефона. Он попытался было соединиться, но номер кади Малика не отвечал.

Зейнаб и Асет стояли около бельевого прилавка. Прелестное розовое боди, выбранное Асет, уже упаковывала в серо-фиолетовую бумажную сумку продавщица. Зейнаб предпочла

более сочный, малиновый, тон. Но вот ведь досада, пятидесятого размера¹² оказались только белые и голубые! Что одно, что другое – хуже для бледнокожей брюнетки не придумаешь нарочно. Нет, ну просто издевательство! Закажут они, еще бы не заказали, но ей-то хочется сегодня! Так бы и ущипнула с вывертом скромненькую продавщицу, да заодно и Асет, безмятежно выписывающую чек украшенной изумрудиком кокетливой ручкой.

– Зайдем в кофейню, дорогая? – Асет завернула золотой колпачок. – Не могу пройти мимо пахлавы, которую здесь стряпают.

– Можно, – Зейнаб, пряча досаду, решила про себя обойтись гранатовым соком. Поди разбери, спроста драгоценная подружка сказала про пахлаву, или это намек, что не всем ею можно объедаться. Пахлава здесь действительно великолепная, пожалуй, один кусочек можно себе позволить.

Подруги направлялись уже к уголку с уютными столиками красного дерева, когда стеклянная стена прямо за прилавком кофейни вдруг рассыпалась, сверкнув тысячею осколков. Ослепительно яркое солнце, ворвавшись в аквариумные сумерки магазина, заиграло на крышах и стенах домов противоположной стороны улицы. Голубое небо закудрявилось барашками облаков, а внизу, видная с высокого второго этажа, тысячей голосов откликнулась толпа.

Вокруг кричали, визжали женщины, и продавщицы и покупательницы, дети покупательниц, побросавшие игрушки в своем уголке, подняли рев. Но все крики, и внутри магазина и снаружи, мощно перекрыла взывшая сирена.

Сирена ревела над мечущейся толпой, как смертельно раненый Левиафан. Эжен-Оливье поднялся с асфальта. Как и можно было угадать заранее, осталось незамеченным, что кто-то рухнул на мостовую мгновением раньше, чем грохнул взрыв.

Карета скорой помощи рассекала уже людские волны. Было непонятно, куда устремляются люди – то ли бегут в страхе от места взрыва, то ли любопытствуют подойти поближе. Впрочем, было как всегда и то, и другое, что усиливало сумятицу.

Одна из самых молоденьких сотрудниц магазина, не продавщица, а уборщица, не снявшая даже пластиковых перчаток, осторожно пробираясь среди осколков, высунулась из проема наружу, нимало не смущаясь своего полностью обнаженного лица, уместного только в посещаемом одними женщинами помещении. Кто сейчас накажет!

– Что там, Шабина?! – выкрикнула женщина со значком администратора, не высовываясь, впрочем, из-за стенда с образцами шелковых драпировок.

– Взорвали!! – звонкий голос девушки диссонировал с басом сирены и далеко разносился по наполненному воплями и стенаниями этажу. – Взорвали, взорвали авто, фиолетовый мерс, взорвали прямо на нашей стоянке! Такой роскошный джип, я его видала, как он парковался! Ой, водителя даже вытащить не пытаются, авто горит как головешка, пожарные подъехали, но даже не тушат! Человек виден за рулем, весь внутри пламени! Скорая тоже подъехала, но врач только рукой махнул! Махнул рукой и пошел раненых смотреть, к самому мерсу даже не приближался! Ну прямо на нашей стоянке взорвали!

Зейнаб окаменела. Фиолетовый мерседес джип, припарковавшийся на стоянке магазина! Десять минут назад, когда они с Асет только заходили в бельевой отдел, кади Малик позвонил ей, что подъезжает. Но даже не из-за этого, ведь в конце концов бывают же самые невероятные совпадения, Зейнаб безошибочно почувствовала, что осталась теперь вдовой. Нет, ужасную уверенность давало другое – непонятно откуда взявшееся, охватившее все ее существо не хуже, чем огонь внизу охватил мерседес мужа, дикое чувство обиды, словно ее обсчитали, обокрали, нагло обманули в глаза какие-то неведомые враги, и теперь смеются, указывают на нее паль-

¹² Размеры даны французские. По нашим меркам у Зейнаб 54 размер.

цами, корчат рожи. Костюм «Первая роза» оплачен напрасно, напрасно сделан заказ на темно розовое боди, напрасно упакованы в фирменные пакеты духи «Опиум» и полицветные гели для волос, а бархатные туфли, а бисерная сумочка?! Эти покупки были сделаны зря, а других уже не будет. Жена деверя, подлая Эмине, всего лишь турчанка, всегда завидовавшая Зейнаб, уж теперь проследит, чтобы вдова соблюдала приличия. *Все приличия.*

Асет не сумела сдержать дрожи, вспомнив вдруг бабку Мадлен, десять лет, до самой смерти, ни разу не вышедшую из дому, чтобы только не надевать паранджи. «Вы безобразны, безобразны во всем, вы не женщины, вы хуже жаб, – тряся упрямой головой, приговаривала она надтреснутым голосом. – Если рот у вас закрыт тканью, вы не должны хотя бы его раскрывать! Ну как выглядит безротый тюк, если он кричит?!»

Безротый тюк рядом с Асет захлебываясь кричал и был так безобразен, что она, вдруг оцепеневшая в неожиданном отвращении, не имела сил прийти подруге на помощь. Крик оборвался. Тюк стал заваливаться на бок, упал.

Зейнаб потеряла сознание.

Никто, конечно, не пытался тушить алое до белизны пламя, рвущееся кверху из металлической скорлупы. Когда догорит, подъедут криминалисты. Зеваки рядом с Эженом-Оливье спорили о достоинствах и недостатках догорающего автомобиля – хотя ни недостатки, ни достоинства уже не имели никакого значения. Он опустил пульт в самый глубокий карман и отступил еще на пару шагов. Повернулся, пошел. Спокойнее, еще спокойнее!

Прилепить штучку на магните к высоко приподнятому днищу джипа – это меньше, чем полдела. Самое трудное, много более трудное, чем устроить взрыв, это не прибавить шагу, устремляясь прочь. Эжен-Оливье, вообразив по сокровенной привычке, что Севазмиу сейчас видит его, нарочно заставлял себя то и дело останавливаться или замедлять шаг, оборачиваться, будто естественное любопытство перебарывало столь же естественный испуг. Дурацкая одежда защитит, надо только уметь хорошо ей подыграть.

– ВСЕМ!! ВСЕМ!! ОСТАВАТЬСЯ НА МЕСТАХ!! ПЕРЕКРЫТЬ УЛИЦУ ДО ПЕРЕКРЕСТКОВ!

Вот это номер! Динамик, обычно транслирующий только завывания муэдзина, вдруг заговорил голосом полицейского. Раньше они до этого не додумывались. Сейчас развернут автомобили поперек проезжей части, а потом начнут проверять всех без исключения.

Счастье, что перекресток совсем близко. Эжен-Оливье ринулся к нему, словно к начавшим затворяться дверцам лифта.

Теперь он бежал – он мчался так, что ветер хлопал неудобным нарядом, надувая парусами рукава, задирая подхваченный подол: теперь ведь уже было не до правдоподобия. Подросток негр, верно, из добровольных помощников благочестивой стражи, попытался подставить ножку – руки его были заняты только что купленной пищей, которую ни ради какого преступника он не захотел бросать. Но расстаться с начиненными красным перцем и бараньим фаршем лепешками все же пришлось, когда Эжен-Оливье на бегу ударил благочестивого помощника ногой в коленную чашечку. Лепешки так и запрыгали по мостовой, когда парень, взвизгнув, грохнулся. Другие просто шарахались к тротуарам, боясь, что у бегущего есть револьвер. У Эжена-Оливье его, впрочем, не было, а вот у полицейских были, что подтвердили несколько хлопков, маловыразительными обертонами прибавившихся к сокрушительному вою сирены.

До укрытия бежать совсем недолго, минут десять. Оно какое-то совсем особенное, раз им пользуются только в исключительных случаях. Он, честно говоря, даже не думал, что близ Елисейских Полей есть где спрятаться.

Адрес, услышанный только сегодня утром, был впечатан в память так, словно пребывал там всегда. Вот он, двухэтажный дом девятнадцатого века, не особняк, просто старый квартирный дом.

Проскочив мимо мраморных ступеней парадного подъезда, Эжен-Оливье метнулся к черному ходу. Старый электрический звонок, наверное проживший лет сто, издал на редкость пронзительную трель. Громоздкий домофон, верно, того же почтенного возраста, щелкнул почти тут же.

– Аллю?

Дурацкое слово, но его и арабы говорят, удобно. А голос молодой, женский.

– Артос. – Кем был придуман пароль, гадать не приходилось. Кто ж еще так любит греческие словечки.

– Инос!¹³ – Дверь приотворилась, девичья невысокая фигурка выступила из полумрака, в котором после яркого дня совсем смазывалась деревянная лестница, узкая и крутая.

– Да скорей же! – Девушка распахнула дверь пошире и, с гримаской нетерпеливой досады, схватив гостя за руку, с силой втянула внутрь.

Засов лег в свое гнездо.

– Иди за мной, – девушка не стала подниматься по лестнице, а свернула за нее, в небольшой остекленный закуток-веранду, дверь которой, конечно, вела во внутренний дворик. На таких верандах ставят обыкновенно цветы в горшках, здесь же пылились стопки старых газет, а еще стояла едва начатая пластиковая упаковка с бутылками «Перье».

– Ну у тебя сердце и бухает, – девушка, пнув ногой незапертую дверь, вытащила бутылку из пластика. – Ты снимай эту дрянь. Пить хочешь?

– Не хочу, – неожиданно охрипшим голосом ответил Эжен-Оливье, следуя за девушкой во дворик, когда-то обнесенный только живой изгородью, теперь высохшей, а сейчас, сообразно мусульманским приличиям, скрытый от внешнего мира глухой бетонной стеной. Несколько шарообразных и пирамидальных деревьев, неровных, давно уже никем не стриженных, газон, дверь в стене выходящего на улицу гаража. Эжен-Оливье отчего-то старательно оглядел это скучное место, прежде чем повнимательнее взглянуть на девушку.

Девушка оказалась лет шестнадцати, с каштановыми, нет, темно-русыми волосами, слегка волнистыми, небрежно обкромсанными ножницами. Стрижка эта делала ее похожей на средневекового мальчика-пажа. Одежда тоже была мальчишеской – линялые джинсы и рубашка в бело-голубую клетку, с закатанными по локоть рукавами и расстегнутым воротом. Но никак не мальчишеской была ее фигура – еще не сформировавшаяся, из-за чего девушка казалась полней, чем была на самом деле.

– Расслабься, – девушка отвернула крышку и отхлебнула воды из горлышка зеленой бутылки. – Это самое безопасное место во всем Париже. Можешь устраивать свой стриптиз.

– Самое оно, – фыркнул Эжен-Оливье, тем не менее скидывая паранджу. – Даже если у тебя самой документы в порядке, куда ты денешь лишнего человека, когда они пойдут прочесывать квартал? Они могут здесь быть минут через пятнадцать.

– Через пятнадцать минут нас здесь не будет, – девушка улыбнулась. Рот у нее был маленький, нежно розовый, и когда она перестала улыбаться, тень улыбки затаилась в уголках губ. Сердце Эжена-Оливье вправду колотилось куда сильнее, чем недавно – когда летели обломки зеркальных стекол и выла сирена. Он все еще переживал простоту и естественность ее жеста, когда маленькая крепкая ладонь уверенно схватила за руку его – незнакомого парня, как могла бы это сделать ее бабка в юности, и совсем не так, как другие его ровесницы. Конечно, те тоже так поступали, не упуская случая доказать самим себе, что они не жалкие мусульманки.

¹³ Артос – хлеб, инос – вино (греч.)

Но переступая через *харам*¹⁴, они напрягались внутренне, невольно вспоминая, чем это чревато, и движения их становились натянуты. Она же ухватилась за его руку так, словно ей это вообще ничем не грозило.

Не подозревая о вызванной ею буре, девушка стояла перед ним, допивая свою бурлящую веселыми пузырьками «Перье». Запрокинутая шея, повисшая на нитке полуоторванная белая пуговка расстегнутого ворота, поднятая рука, натянувшая старенькую ткань так, что не оставалось никаких сомнений – лифчика не было и в помине.

Эжен-Оливье бывал несколько раз в краях, где мусульмане еще разрешают женщинам открывать на улицах верхнюю часть лица. Глаза мусульманок запомнились ему надолго – с ресницами, удлинненными тушью либо просто накладными, с обведенным контуром, с тенями металлик на веках, либо с тенями-блестками, либо с тенями, меняющими цвет. Скромности и целомудрия в них замечалось примерно столько же, сколько обнаружилось бы любви к закону и правопорядку в закоренелом преступнике, заточенном в одиночную камеру. В камеру с начиненной током колючей проволокой вокруг. По правде говоря, из-за одних только этих глаз женщины казались хуже, чем полностью обнажившимися. А эта девчонка с голой шеей, с открытыми руками, с маленькой грудью, готовой разорвать ставшую тесной рубашку, была подсвечена изнутри целомудрием.

Она сделала еще глоток. Эжену-Оливье очень хотелось допить за ней воду, от которой он глупо отказался вначале, но уже не из-за жажды.

– Эй, у меня что, уши зеленые? – Опустевшая бутылка отправилась в стоявший тут же, на асфальте, деревянный мусорный ящик. – Нам пора!

Эжен-Оливье в другой раз бы, конечно, куда раньше догадался, что из этого места должен быть ход либо в подземные коммуникации, либо в лабиринты заброшенного метрополитена. (В метро ведь сейчас половина линий заброшена.) Девушка подошла к гаражу. За открывшейся дверью стоял старенький ситроен, занимавший не слишком много места. Девушка принялась передвигать ящик с инструментами, пристроенный у дальней стены.

Догнав ее, Эжен-Оливье тоже склонился к ящику. Тот подавался тяжело, словно инструменты были чугунными.

– Я – Эжен-Оливье, – проговорил он, не разгибаясь.

– А я Жанна.

Никогда в жизни Эжен-Оливье не видал своими глазами девушки по имени Жанна. Отец рассказывал, что в конце XX века это имя, самое популярное в течение столетий, почти исчезло. Горожане, чье число умножалось тогда, стали его третировать, как слишком «деревенское», простецкое. В свою очередь деревенские жители стремились показать городским, что и они не лыком шиты, могут не хуже их назвать дочь Рене либо Леони. «Уже тогда бы понять, что неладно с Францией, если девушки не Жанны, – говорил отец. – Родись у нас девочка, мы бы непременно ее так назвали. Но у тебя, как назло, сестер нет».

– Какое у тебя редкое имя, – сказал Эжен-Оливье.

Они посмотрели друг на друга и засмеялись, почти сталкиваясь лбами над грубыми досками. Ящик вдруг отъехал в сторону, словно был на полозьях. Впрочем, так оно и оказалось.

Лестница, начинавшаяся в замаскированном люке, вовсе не походила на привычные деревянные лестницы Парижских домов. Сочлененная из легкого металла, она поражала глаз каким-то допотопным изяществом. Всего лишь лестница, она таила чью-то мысль, давно раставшую, никому теперь не понятную и не нужную. Зачем пробивались симметричные дырочки в накрученных на стальную ось квадратах ступеней, то расширялись, то сужались лопасти перил?

¹⁴ *Харам* – запрет в исламе.

Жанна и Эжен-Оливье стояли внутри металлического кубика, освещенного противным светом люминесцентной лампы. Нажатие панели – стальные щиты разъехались, как в лифте. За ними оказался небольшой проем, еще одни раздвижные двери. И уже за ними шел длинный не прямой коридор.

Нет, ни на канализационные сети, ни на заброшенные ветки метро, мокрые и темные, кишасшие крысами, не походило это подземное убежище. Еще меньше оно походило на подземный ход древних времен (таких ведь тоже немало под Парижем), ход, ведущий в крипту, каменный мешок или оссуарий¹⁵. Ровный кафельный пол вишневого цвета, без единой выбоинки, ровные стены, быть может и бетонные, но крашенные серой масляной краской. Тусклый ряд лампочек на потолке, похожий на хребет этого извивающегося коридора. Металлические двери, плотно утопленные в своих мощных косяках.

– А ты ни разу не бывал в таких местах? – В голосе Жанны прозвучало снисходительное хвастовство, словно она если не сама выстроила подземное сооружение, то уж по меньшей мере владела им поколению в третьем. – Шикарно, да?

– Даже слишком шикарно. – К несомненному удовольствию Жанны, Эжен-Оливье не мог скрыть удивления. – Что это вообще такое?

– Бомбоубежище. Жутко старинное, ему почти сто лет.

– Времен Второй мировой? Когда был Гитлер? – Эжен-Оливье не прочь был иной раз продемонстрировать исторические познания.

– Да нет, лет на двадцать позже.

– От каких же бомб тогда прятались? – Похоже, с исторической демонстрацией не надо было спешить. Теперь вдвойне неприятно показывать себя профаном.

– Да ни от каких. – Жанна шла впереди, и походка ее была даже младше ее самой, стремительная и немного расхлябанная. – Просто жутко трусили атомной войны. Тогда многие такое рыли про запас, а вот, пригодилось. Тут несколько входов из разных мест, верно, владельцы всех квартир в доме скинулись, семей десять.

Коридорчик обрывался еще одной металлической дверью. Закругленной овалом, со все той же претензией на некрасивую красоту. Перед дверью стояла на табурете белая пластиковая миска с водой.

– А вода зачем?

– А вдруг тут *рыбы* водятся? – Собственная более чем немудреная детская шутка, судя по нескольким смешкам, показалась Жанне весьма остроумной. – Ладно, идем к остальным, нехорошо все-таки, раз мы здесь.

Дверь, видимо, полностью перекрывала звук: едва она открылась, донесся сдержанный гул по меньшей мере десятка голосов. Огромная комната, зачем-то заставленная в два ряда стульями и скамейками, была полна народу. Некоторые сидели, уткнувшись в книги, другие, сбившись в маленькие группы, негромко беседовали. Высокий старик, с собранными в старомодный хвостик совершенно седыми волосами, делающими его похожим на какого-нибудь вельможу восемнадцатого века, приветливо кивнул Жанне и ее спутнику. Пожилых людей вообще было довольно много. К удивлению Эжена-Оливье, среди взрослых были дети, даже совсем крошечные, не старше годика. Дети вели себя удивительно тихо, или скорей, обыкновенно, просто очень непохоже на детей мусульманских улиц. Мальчик лет трех, усевшись на полу, с важностью развлекал себя немудреной игрушкой: чем-то вроде нанизанных на веревочку бирюзовых бусинок разного размера. Одежда женщин демонстрировала как на подбор *aurat*¹⁶ – пренебрегали даже свитерками под горло. Пожилые женщины предпочитали блузки

¹⁵ *Оссуарий* (от лат. os, ossis – кость) – костехранилище, склеп.

¹⁶ *Аурат* – части тела, запретные для демонстрации: у женщин – ноги выше щиколоток, руки выше кистей, волосы и пр.

с отложными воротничками, молодые – ковбойки и футболки, мальчишеские, их ведь легче достать.

С другой стороны комнаты открылась еще одна дверь, совсем маленькая. Вошел человек, при виде которого Эжену-Оливье сделалось ясным, что и Жанна, и это странное роскошное подземелье времен неслучившейся войны, да и все остальное ему просто приснилось.

Вошедший был священником, даже не таким, каких Эжен-Оливье видел на уцелевших фотографиях последних дней христианского Нотр-Дам, а уж слишком настоящим на вид, словно за железной дверцей стояли времена Пия Десятого¹⁷. Жесткий колокол подола черной сутаны почти касался пола, и можно было спорить, что маленьких обтянутых материей пуговиц на сутане ровно 33, ни на одну меньше. Высокий и светловолосый, священник был скорее молод, хотя застывшее, какое-то даже ледяное выражение в лице сильно его старило.

– Мессы сегодня не будет, – прозвучал в наступившей тишине его звучный суровый голос. – Наш поставщик вина попал в руки мусульман. Упокой, Господи, его душу.

¹⁷ *Пий X* (Джузеппе Мельхиор Сарто; 1835—1914) – Папа Римский (1903—1914). Род. в семье простого служащего. После окончания семинарии в Падуе в 1857 г. был рукоположен во пресвитера. В течение 17 лет служил на разных приходах, с 1875 г. являлся епархиальным секретарем и директором семинарии в Трезвио. В 1884 г. рукоположен во епископа Мантуи, с 1893 г. – кардинал, патриарх Венеции. После избрания на Папский Престол Пий X проводил жесткую линию борьбы с получившим распространение в среде католических богословов модернизмом (учением о необходимости приспособить вероучение и обряды Церкви под нужды и требования современного человека), который был объявлен им «самой страшной ересью XX века». Канонизирован Римско-католической Церковью в 1954 г.

ГЛАВА II

Валери

– Бедный месье Симулен! – Очень старая женщина в красиво оттеняющей седину лиловой блузке говорила ровным голосом, но Эжен-Оливье заметил, что ее сухошавое тело трясет озноб. – Овдовев, он забыл всякую осторожность, нет, не забыл, отбросил, как выбрасывают ненужную ветошь на помойку.

– Я говорил с ним позавчера по телефону, – мягко произнес длинноволосый старик. – Он вправду понимал, что лучше пересидеть недели две, но очень хотел, чтобы сегодняшний праздник состоялся. Он ведь знал, что вино вышло до последней бутылки, что прошлую мессу была вылита последняя ампула¹⁸. Сегодня были бы красные ризы, ведь Апостол Иоанн¹⁹ изготовился принять мученический венец. Хорошо, что красные ризы, ведь к сегодняшнему празднику теперь прибавляется память мученика.

– А я принял его за спекулянта черного рынка, – упавшим голосом шепнул Жанне Эжен-Оливье.

– Принял... – Жанна стиснула ладони. – Ты... видел? Видел что-нибудь?

– Час назад.

Говорили что-то и другие, некоторые из женщин плакали. Но священник, больше ничего не прибавив к своим словам, повернулся и направился к дальней стене. Как Эжен-Оливье не заметил сразу Распятия на ней? Накрытое белой тканью возвышение по грудь высотой, – это, конечно, алтарь. Священник опустил на колени. Воцарилось молчание, только шелестели страницы маленьких книжек с закладками-ленточками, по множеству закладок разного цвета в каждой.

Тишина обрадовала Эжена-Оливье возможностью хоть как-то собрать мысли. Откуда мог взяться священник? Есть священник, должен быть и епископ, есть епископ, должен быть Папа. Но Папы давно нет, он отрекся от Престола Святого Петра еще в 2031 году. Ватикан *они* давно сровняли с землей и теперь свозят туда мусор со всего Рима²⁰.

Маленький мальчик все перебирал свои бусинки, но как Эжен-Оливье не заметил среди них маленького креста?

Теперь все выглядело по-иному. Несколько небольших эстампов по стенам изображали этапы Крестного Пути. На особом крючке висела серебристая пирамидка кадила, так и не понадобившаяся сегодня. Алтарную часть, лишенную своего естественного возвышения по непригодности помещения, отделяла символическая ограда – справа и слева по два столбика на подставках, каждая пара соединена веревкой.

¹⁸ Католики используют во время мессы два сосуда – для воды и вина, объемом в чашу потира. В отличие от православных, католические священники используют ампулы в ходе Литургии.

¹⁹ 6 мая – праздник св. Апостола Иоанна пред Вратами Латинскими в Риме. Схваченный по приказу Домициана, Апостол Иоанн был брошен в кипящее масло, но вышел из чана невредимым, и был затем сослан на остров Патмос. Случилось это перед воротами город Рима, называвшимися Латинскими, откуда и пошло название праздника. Об этом сообщает св. Иероним, ссылаясь на свидетельство Тертуллиана.

²⁰ Шейх Юсеф Кордауи в выступлении по телеканалу Al Jazeera: «У Пророка спросили, какой город будет захвачен первым, Константинополь или Рим? Ответ был следующим: первый будет Константинополь. Остается второй город, надеемся, что он будет завоеван... Это означает, что мы вернемся в Европу как завоеватели после того, как нас дважды изгоняли, первый раз с юга Андалузии, второй с Востока». Было добавлено, разумеется, что «на этот раз Европа будет завоевана не мечом, а молитвой и идеологией». Но даже если поверить в это, большая ли разница для нас, миром или войной достигнут падения Рима? (По: CORRIERE DELLA SERA: «Провозглашена фетва по Риму: «Город будет вновь завоеван». 15 марта 2004. Опубликовано на сайте www.inopressa.ru).

А чего стоил, если приглядеться, головной убор священника! Такое даже в середине прошлого века не носили, даже левефривсты не надевали, если судить по фотографиям. Черная шапочка, квадратная, как коробочка хлопка, от каждой грани идет жесткая округлая лопасть. Нет, граней всего четыре, а лопастей только три, одна грань пустая, на нее спадает кисточка из черной шерсти²¹.

Шапочку священник снимал иногда, прижимал к груди, преклонял голову, надевал снова.

В молитвенной тишине было слышно, как постепенно утихают сдавленные рыдания.

Сколько длилось это молчание, для всех, кроме Эжена-Оливье, полное каких-то обязанностей, какого-то дела? Наконец священник поднялся.

– Он очень любил сам резать по дубу, месье Симулен, – ни к кому не обращаясь, произнесла Жанна. – У них на ферме все было его работы – и двери, и мебель.

– А ведь трудней всего доставалось дерево, – улыбнулся длинноволосый старик. – Мастерские мебели уже лет сто как делают даже самые дорогие вещи из нового дуба. Усыхая, такая мебель дает трещины. Так Симулен скупал старые бочки для сидра, выпрямлял потом доски под гнетом, в воде... Зато уж хвастался, что его работа не на одну сотню лет. Это была целая философия. Он говорил, что дерево, из которого мастерят, срубленным не умирает, а обретает иную жизнь, как человек после физической смерти.

– А как он ненавидел мебельный лак! – добавил другой мужчина, тоже немолодой. – Помню, говорил, дереву тоже надо дышать, вот я вас покрою лаком, а через неделю похороню! Разговор вдруг оборвался.

– Я запретил Жаку Ле Дифару и юному Тома Бурделе даже пробовать пробраться к могильному рву, – резко сказал священник. – Довольно на сегодня одной жертвы.

– И вы были правы, Ваше Преподобие. Ведь прошлая попытка была неудачной, мы потеряли еще троих.

Священник был еще окружен людьми, но собравшиеся начинали потихоньку расходиться. Каждый уходящий опускался перед священником на колени, испрашивая, как в старые времена, благословения.

– *Benedicat te omnipotens Deus*²²...

Латынь! Самая что ни на есть настоящая латынь, которую по рассказам знал дед Патрис, но знал только для себя, которую так и не доучил отец...

– Кто они все? – шепотом спросил Эжен-Оливье.

– А ты ни разу их не встречал? У нас же есть общие убежища. Вернее сказать, это убежище принадлежит им, но они и нам тут дают отсиживаться. Ну и сами, конечно, у нас скрываются иногда. Но они не бьют сарацин, только служат Литургию.

– Ну да, вон тут сколько старых, где им воевать.

– Ты не понимаешь, они просто не хотят. Ну, они считают, что времена Крестовых походов уже не повторятся. Что на земле вообще уже ничего хорошего не будет. Ну не знаю, как тебе объяснить, если ты не слыхал о Скончании Дней. Просто они хотят, чтобы куда еще живо хоть несколько христиан, была и месса. В Париже три общины. Христиане начали с катакомб и в катакомбы вернулись.

– А где они все живут?

– В гетто, понятное дело.

Эжена-Оливье передернуло. Он часто бывал в каждом из пяти крупных гетто Парижа, где жили пораженные в правах французы, не принявшие ислама. Жуткой и безысходной была

²¹ Здесь дается описание *биретты* – головного убора католического духовенства (схожего с православной скуфьей), почти полностью вышедшего из употребления в современной Римско-католической Церкви.

²² Да благословит тебя Всемогущий Бог (*лат.*)

эта жизнь за колючей проволокой, но многие шли на нее, почитая допустимой платой за право оставаться собой. Лютая бедность и теснота, чуть что – смерть от руки любого полицейского, приравнивающего «язычника» к собаке. Но как же весело плевать на крики муэдзинов, попивая свой кофе за столиком уличного кафе, зная, что в роскошных своих особняках коллаборационисты бегут сейчас «заниматься гимнастикой». Конечно, вино и в гетто было смертельно опасно добывать, конечно, женщины выходили из дому, накинув шарф на голову и на шею, женщину с открытой головой полицейские могут забить до смерти. Но лица их все же были открыты! Жители гетто оставались французами, как могли учили детей, хотя книжек уцелело мало: каждый комикс с Астериксом, каждая серия про слоненка Бабара, рассыпающимися лохмотьями передавались из семьи в семью, покуда хоть что-то можно было различить на затертых листах. Иногда по гетто проходила вдруг череда обысков, которые трудно было угадать заранее. После обысков запасы скудных личных библиотек основательно таяли. Но куда хуже было другое. Иногда, случайно или по каким-то своим соображениям, это оставалось непонятным, благочестивая стража вдруг принималась плотно трепать одну семью. В дом начинал частить имам, без имама – молодые помощники, еще более настырные. Жутко было глядеть на напряженные, окаменевшие лица взятых в такой оборот людей. Они знали сами, и все знали вокруг – пройдет три месяца, отчего-то ровно три, и соседи увидят поутру либо грузовичок, перевозящий новоиспеченных правоверных в мусульманские кварталы, либо дом с заколоченными ставнями, распахнутую дверь опустевшей квартиры. На порогах опустевших жилищ подростки рисковали иногда зажигать свечи.

Но чтобы среди жителей гетто были тайные верующие!

– А откуда они взялись? Папа же распустил Церковь!

– Он не был вправе ничего распускать. Знаешь, были такие, кто еще до всей заварушки ушел в раскол, за Монсеньором Марселем Лефевром. Они и подались в катакомбы.

– Почему ты все время говоришь они, ты разве не из этой общины?

– Я из Маки²³, – Жанна сердито закусилась маленькую нижнюю губу цвета барбарисовых ягод. – Я не из общины, нет. И не спрашивай ничего, ладно?

Ну, не спрашивать, так не спрашивать. Но если Жанна тоже в армии Сопrotивления (хотя, судя по тому, что они не встречались ни разу, не у Севазмиу), значит, они встретятся еще, и не раз. Если специально пригласить ее как-нибудь повстречаться, она, быть может, начнет насмешничать, а самое худшее, поймет. Да и как это вдруг взять и предложить? Нет, легче хлопнуть еще десяток кади! Как же хорошо, что предлагать ничего не надо, рано или поздно они встретятся и так! Да и к тому же, он тут пробудет не меньше суток. А она?

– Подойдем к отцу Лотару, – Жанна уже вскочила, не сомневаясь, что Эжен-Оливье последует за ней.

Ох, и ничего себе имечко, Лотар! В затхловатом подземелье всюю запахло геральдическими лилиями. Уж на что в семье Левек были снобы, но до такого все ж не доходили. Однако беседовать со священником, будь он даже просто отец Пьер, Эжену-Оливье не хотелось. Но что поделаешь, его сюда прислали по делу, а священник, похоже, главный. Да, это он и покажет всем своим поведением, всякие духовные материи его не касаются.

Жанна между тем, чуть покосившись на своего гостя, словно ей доставляло удовольствие его шокировать, согнула по-мальчишески одно колено, потрянула, склоняя голову, светлыми недлинными волосами.

– Jube, domne, benedicere!²⁴

²³ Маки – первоначально корсиканское слово, обозначающее «чашобу», «заросли». Уходить «в маки» означало скрываться от властей. Во времена Второй мировой войны так стало называться партизанское движение. Отсюда произошло уже чисто французского происхождения слово **максар**. Неудивительно, что лет через тридцать эти славные слова вспомнятся вновь.

²⁴ Благоволи, господине, благословить (*лат.*).

– Здравствуй, маленькая Жанна, – губы священника улыбались, но во взгляде, опущенном на светлую макушку, вспыхнула боль. – *Benedicat te omnipotens Deus...*

– Отец Лотар, это Эжен-Оливье, из Соппротивления, – Жанна уже отряхивала джинсы. – Он-то и будет ждать у нас новых документов, которые доставят из Коломба.

– Я помню, Жанна, – похоже, глядя на девушку, отец Лотар не мог не улыбаться, впрочем не без добродушной насмешки. Он обернулся к Эжену-Оливье. – Думаю, у вас было не самое легкое утро.

– Зато мне, похоже, повезло отдохнуть больше суток шикарнее, чем на Лазурном берегу, – Эжен-Оливье успел порадоваться, что удержался от соблазна небрежно уронить, мол, пустяк, обычное дело. Это было бы дешево, а этот священник со слишком уж изучающим, слишком цепким взглядом сразу отметил бы дешевку. Ничем бы не показал, но мимо бы не пропустил.

– Вижу, вы здесь впервые. – Отец Лотар рассматривал Эжена-Оливье пристально, но нисколько не таясь, явственно ощущая себя в праве вот эдак прошупывать глазами. – Странное место, не правда ли? Тут все выстроено в те времена, когда люди почитали религию безобидным старомодным чудачеством, и все только потому, что сумели покатать вокруг нашей грешной планеты нескольких собак и обезьян. Они очень много думали о будущем, о каком-то немыслимом расцвете всех наук, нечеловеческих формах разума. Я читывал книги тех лет. Единственное, чего бы тогдашним почитателям прогресса не могло прийти в головы ни при каком раскладе, так это нашего настоящего. И уж никак не влезло бы в их сознание, *кому и для чего* послужат их подземелья.

– Я не верю в Бога, – Эжен-Оливье встретился со священником глазами. – Разве б Он мог допустить... Допустить чтобы они понастроили по Нотр-Дам эти лохани для мытья своих ног?

– Да разве это Он допустил? – возразил отец Лотар. – Это мы допустили, верней сказать, допустили наши предки, в первый раз тогда, когда стали относиться к Нотр-Дам не как к месту Престола Божьего, а как к памятнику архитектуры. Целый двадцатый век они только и делали, что допускали и допускали²⁵, по кусочку, по шажку... Но, кстати уж, о предках... У ваших должны быть корни в Нормандии, я готов побиться об заклад, что так.

– Вроде бы, не помню наверное. – Нельзя сказать, чтобы вопрос о наличии норманнских корней особенно занимал сейчас Эжена-Оливье. Но было ясно, что священник уходит от спора. – Мы очень давно живем в Версале, то есть, конечно, жили в Версале.

– Между тем поручусь, что я прав. Вы даже схожи с Жанной, в верхней части лица, – отец Лотар перевел взгляд на девушку. – А уж большей нормандки, чем Жанна, нарочно не сочинишь. В детстве я видел портрет Шарлотты Корде, написанный через неполных тридцать лет после ее гибели. Безликая красота, думаю, он вообще не имеет отношения к оригиналу. А мне иной раз нравится думать, глядя на Жанну, что передо мною живой портрет Шарлотты. И веро-

²⁵ Всего лишь два примера в подтверждение правоты отца Лотара. Весной 2004 года Католическая Церковь Германии сама устроила в музее епископства города Майнца выставку под названием «Святых войн не бывает», предлагая посетителям «критически взглянуть» на «бесславные деяния» крестоносцев. Кошунственный утверждение, что обречших себя на нечеловеческие тяготы в Святой земле рыцарей толкала в путь не вера, а «жажда власти и обогащения», высказал на открытии кардинал Карл Леман. Чем еще, как не предательством христианства, можно назвать это оплевывание могил? Выслуживаясь, вероятно, перед влиятельной мусульманской диаспорой Германии, кардинал особо подчеркнул, что экспозиция выставки станет «началом новых контактов между исламом и Европой». В том же году в Испании по инициативе церковного капитула из кафедрального собора Галисии – Сантьяго-де-Компостела убрана статуя Сант Яго Матаморос (маврбойца). Святой Иаков, на вздыбленном белом коне, рубит мечом головы мавров в турбанах. Под копытами – бездыханные тела мавров. По мнению капитула, скульптура «может задеть чувства мусульман, которые также посещают храм, являющийся известным архитектурным памятником». Для всех подобных случаев характерна игра в поддавки – то, что может раздражать мусульман, убирается еще ПРЕЖДЕ, чем они начинают этого требовать. Надо отдать католикам должное – игра в поддавки велась не только в пользу мусульман, мусульмане лишь сумели взять все призы. Но нельзя не вспомнить ликвидацию мошей младенца Симона Трентского, совершенную, чтобы не «оскорблять» иудеев. Когда религия превращается из откровения свыше в культурное наследие, начинается рефлексия, оглядка – как бы никому не наступить на мозоль. Так что отец Лотар все говорит верно – переменялось восприятие, а как следствие – отношение.

ятность велика. Шарлотта ведь была канской девчушкой. А таких, как Жанна, в Кане и сейчас многие сотни.

– Ужас. Сотни девушек с жидкими волосенками и коротковатыми ногами, – тут же отозвалась Жанна.

– А ты согласилась бы поменять сходство с Шарлоттой Корде на сходство с мисс Вселенная за 2023 год? – парировал священник.

– Ну вы и жук, Ваше Преподобие, – по довольному лицу Жанны было видно, что подобные пикировки давно сделались традицией. – Мисс Вселенная, это что, самая высокооплачиваемая манекенщица года, да?

– Да нет, просто победительница конкурса красоты. В таких конкурсах самые разные девушки принимали участие, не одни манекенщицы, и студентки, и парикмахеры, и библиотекари, даже офицеры полиции попадались, – отец Лотар вздохнул. – Каждый раз чувствую себя глубоким стариком, вновь обнаруживая, как мало вы знаете о старом мире.

Стариком отец Лотар между тем никак не был, он казался в возрасте между тридцатью и тридцатью пятью годами. Но чтобы он не чувствовал себя тем не менее еще старше, Эжен-Оливье не стал в свою очередь спрашивать, кто такая Шарлотта Корде. Сестра милосердия, расстрелянная в Первую мировую войну? Кажется да, что-то он такое слышал.

В церковь между тем вошла какая-то еще женщина, высокая и стройная, как краем глаза отметил Эжен-Оливье прежде, чем узнал.

– Ух ты, да это же... – Глаза Жанны расширились.

Вошедшая шла к ним по проходу между двумя рядами стульев.

Издали женщина казалась совсем юной благодаря ли стройным бедрам и длинным ногам, или же какой-то девичьей стремительной походке. Длинные темные волосы, словно подсвеченные изнутри серебряным блеском, прямые, молодо спадали на плечи. Они были красивы – прямые волосы, даже по-настоящему густые, редко выглядят тяжелыми, но тяжесть этой гривы бросалась в глаза, быть может, в контрасте с хрупкими плечами. Когда она приблизилась, делалось видно, что светящимися волосы кажутся всего лишь потому, что темные пряди обильно перемешаны с седыми. Она не просто не была юной, она была не моложе шестидесяти лет, и никто не дал бы меньше, глядя на ее худое острое лицо, на жесткие волевые складки, подчеркивающие решительный рот. Но вместе с тем никто не посмел бы назвать ее и старухой. В черных облегающих джинсах, в черной водолазке, в кроссовках и широкой легкой куртке, София Севазмиу, самая отчаянная голова из всех семи, возглавляющих армию Сопротивления, проще сказать Маки, казалось, существовала как-то вне возраста.

Эжен-Оливье заметил, как взгляд Жанны, словно против ее воли, скользнул по левой руке Софии, затянутой в серую перчатку из тонкой замши.

– Я снимаю ее, когда брожу ночами по их кварталам, – улыбнулась София. – Ты ведь знаешь песенку? Добрый день, Ваше Преподобие.

– Да, – Жанна покраснела, и Эжен-Оливье с новым восхищением открыл для себя, что румянец у нее английский, не теплый, а восхитительно холодный. Впрочем, если отец Лотар прав, то не странно, Ла-Манш везде Ла-Манш. Каким-то образом он успел и залюбоваться румянцем, и посочувствовать Жанне, которая попала. Не будь она так смущена, не влипла бы еще глубже, сознавшись, что слышала мусульманскую колыбельную страшилку о Трехпалой Старухе.

– Рад вас видеть, Софи, – по-мальчишески открыто улыбнулся отец Лотар. – Это Жанна Сентвиль, а представлять вам молодого человека, полагаю, не надо. Вы ведь знакомы, и, сдается мне, сегодня уже видались.

– Ну никак вас не объедешь на кривой козе, отче, уж я и справа и слева пробую, – София полезла было в просторный карман, но, скользнув взглядом по алтарю, передумала.

– Можно посидеть у меня в ризнице, коль скоро вы получаса не живете без своих папирос с этим месопотамским названием, – отец Лотар сделал приглашающий жест в сторону маленькой двери.

– Что до папирос, то они называются «Беломорканал», и смею вас уверить, это не самая дешевая контрабанда. Что до этого юноши, так тот кади... Поразительное совпадение, надо сказать... Словом, покойник и продалил новое использование Триумфальной Арки. Мы, конечно, не знали, что первой жертвой будет Симулен. Еще бы дня два, быть может, его удалось бы спасти, но время работало на них.

– О нем уже не надо сожалеть, теперь он сожалеет о нас. – Отец Лотар растворил металлическую дверцу, пропуская Софию, Жанну и Эжена-Оливье. – Только тут у меня уже есть одна гостя. Но не думаю, что она станет возражать против дыма ваших папирос.

В так называемой ризнице, комнате с раздвижным шкафом, столом и несколькими креслами, на первый взгляд никого не было. Внимание Эжена-Оливье привлекли неуклюжие вешалки-подставки, на каждой из которых висело по несколько облачений из бархата и парчи. Ближе всех оказалась изрядно побитая молью, тяжелая даже на вид риза вишневого бархата, искусно оплетенная темным золотом. Золотые нити сплетались буквами «I», «H» и «S»²⁶, значения которых Эжен-Оливье не то чтобы никогда не знал, но как-то не помнил.

Тут же Эжен-Оливье заметил, что за вешалкой затаился один из приведенных на мессу детей, похоже, затеявший прятки.

– Эй, а я тебя нашел, выходи! – тихонько окликнул он.

Маленькая девочка сперва выглянула из-за риз с одной стороны, затем с другой, а уже после вышла. Лет восьми, может, и меньше, красивая, как иллюстрация к детской книге, – ее вид заставил Эжена-Оливье отшатнуться. Было отчего: светлые кудри, на самом деле, скорей всего, льняные, казались от грязи тускло пепельными и спадали до пояса нечесаными лохмами. На девочке не было другой одежды, кроме серой мужской футболки с рекламой сети супермаркетов «Монопри». Футболка, словно платье, закрывала ее колени, но из слишком широкого ворота норовило выскочить то одно худенькое плечико, то другое. Точеные босые ступни стояли на кафельном полу так уверенно, словно девочка никогда и не носила обуви. Неудивительно, конечно, что она где-то успела пораниться – на ножках была кровь.

Девочка уставилась на Эжена-Оливье огромными ярко-голубыми глазами. Один спутанный локон помешал ей, упав на лицо. Она нетерпеливо отвела его рукой. На маленькой, словно вырезанной из слоновой кости ладошке тоже была кровь.

– Валери! – тихо позвала сзади Жанна. – Валери, у меня что-то есть для тебя, иди сюда!

Девочка не обратила внимания, продолжая пристально разглядывать Эжена-Оливье.

– Воротил черта в пекло и думаешь, сделал дело? – Наконец звонко заговорила она. – А Божья Матерь между тем плачет. Знаешь, где она живет? У нее большой-большой красивый старый дом с цветными окошками. Но в ее дом теперь ходят задницы, она их не звала, а они все равно ходят. Божья Матерь не велит, чтобы задницы к ней ходили. Ну сделайте что-нибудь, вы же взрослые!

Отец Лотар и София смотрели на девочку с горечью, но без малейшего удивления. Жанна, присев на корточки, вытащила из кармана джинсов чупачупсинку на палочке и приманивала ребенка, протягивая леденец в вытянутой руке.

– Не хочу! – Девочка сердито отстранилась от конфеты обеими руками. Левая рука тоже была поранена, и как-то слишком уж странно: в том же месте, что и правая, в середине ладони.

²⁶ ...буквами «I», «H» и «S»... – изначально греческая монограмма имени Христа, записанная латинскими буквами – «IHS», позднее часто интерпретировалась как *Iesus hominum Salvator* – Иисус, Спаситель людей. Этой монограммой в Западной Церкви украшали облачения и другие богослужебные предметы.

И босые ножки были поранены одинаково, чуть выше пальцев. Все четыре небольших раны еще кровоточили.

– Ну возьми, пожалуйста, Валери, – увещевала Жанна. – Я для тебя нарочно украла конфетку. Задницы могли меня поймать! А ты не хочешь, мне обидно.

Девочка, нахмутив идеального разлета русые бровки, неохотно подошла и взяла угощение, но есть не стала, а, зажав в кулаке, подошла теперь к Севазмиу.

– Софи, хорошая Софи, сделай так, чтобы они больше туда не ходили! Ты можешь, я знаю, что ты можешь!

– Нет, Валери, я бы сделала это для тебя, но я в самом деле не могу. – София Севазмиу говорила с ребенком без тени снисходительности, как равная с равной, разве что голос ее немного смягчился. – Пойми, мы с моими солдатами можем прогнать «задниц» из Ее дома, как ты хочешь. Но когда нас всех перебьют, «задницы» набегут снова. Моей армии не хватило бы даже на то, чтобы неделю продержаться Нотр-Дам. Я на самом деле не могу этого сделать.

– Можешь, ты только не хочешь понять как! А я тебе не могу подсказать! Божья Матерь не велит подсказывать! – Валери заплакала, размазывая по лицу грязные потеки.

– Она что, сама себя так поранила? – тихо спросил Жанну Эжен-Оливье. Они отошли уже от священника и Софии, продолжавших какой-то свой разговор уже вдвоем. Хотя о чем Софии Севазмиу так долго говорить со священником? – Почему никто не перевязет?

– Она себя не ранила, – Жанна странно взглянула на Эжена-Оливье.

– Слушай, случайно так не наколешься! Откуда тогда эти ранки, кто посмел ей такое сделать?

– Ты чего, вправду не знаешь, что такое стигматы?

– Нет... – Слово было, впрочем, смутно знакомо, так же смутно, как буквы IHS, как уверенность в том, что Пий Десятый был очень крут.

– Раны Христовы... Они сами открываются и кровоточат. У святых у некоторых, у праведников. Валери – юрдивая. Она все знает обо всех, ее нельзя обмануть.

– Почему она говорит «задницы»?

– Ты намаз когда-нибудь видел?

– Ну...

– А еще спрашиваешь. Что у них видней всего?

Эжен-Оливье фыркнул.

– Ну вот... Она же маленькая. Что видит, то и говорит. Знаешь, как они ее боятся? Она ведь по всему Парижу бродит, и кулачками им грозит, и ногой топает... А больше всего она любит собор Нотр-Дам.

– Нотр-Дам? – Эжен-Оливье невольно изумился совпадению, ведь весь день сегодня Нотр-Дам все лез и лез ему в голову, мучительно напоминал о себе.

– Ну да, это его она называет домом Божьей Матери. Из него просит их прогнать. Она часто ходит вокруг и все плачет, плачет, что там мечеть.

– Твой дед был хороший. Он в раю. А ты, ты их прогонишь? – Валери, подошедшая было к Эжену-Оливье, повернулась и направилась вдруг к двери.

– Мельник, зря спишь!

Мельница очень уж мелет!

Мельник, зря спишь!

Мельница слишком быстра! —

тихонько напевала она каким-то немислимо серебряным, немислимо чистым, немислимо неземным голоском.

– Мельница, мельница
Сильно мелет!
Мельница, мельница
Так спешит!

Фигурка-статуэтка в рубище скользнула в дверь. Но перед тем, обернувшись, девочка еще раз посмотрела на Эжена-Оливье и строго погрозила ему пальцем.

– Уж не знаю, что там с твоим дедом, но ты-то теперь видишь, почему ее все боятся? – Жанна смотрела вслед Валери своими не очень большими, но дымчато-серыми, окаймленными длинными черными ресницами глазами, и из этих глаз тихо стекали по щекам несколько прозрачных слезинок. Похоже, она и не заметила, что плачет. – Никто не знает, откуда она взялась, куда делась ее семья. Она даже зимой босая, а ночует на улицах. Обувь или теплую одежду ей лучше даже не предлагать. Иногда мне удается ее вымыть или хотя бы причесать, но для этого она должна быть в особо добром расположении. Что она ест, я вообще не представляю. Помоему, она иногда по неделе ничего не берет в рот, кроме святого Причастия. Впрочем, она очень любит грызть лишние гости, отец Лотар всегда ей оставляет побольше.

– Я говорил твоему отцу Лотару, что не верю в Бога, а он нарочно перевел разговор, – вернулся Эжен-Оливье.

– Он вообще хитрющий, предупреждаю сразу.

– А ты... ты веришь?

– Конечно, – удивилась Жанна. – Что ж я, дура, что ли?

– Спасибо, конечно. Ну так чего ж ты тогда их бьешь, сидела бы себе и молилась, – поддел Эжен-Оливье.

– Ну просила же я тебя не спрашивать, – Жанна с досадой сжала кулак. – Ну ладно, просто нажал на больное место. На очень больное. В Крестовые Походы мне б хорошо жилось, а до Скончания Дней у меня, видно, душа не доросла. Или мужества недостает, не знаю. Да, не смейся, на то, чтоб молиться и ждать, когда тебя за это убьют, надо куда больше мужества, чем на войну.

– Я понимаю, – Эжен-Оливье вправду понимал, хотя еще час назад не мог даже представить себе ничего подобного.

София между тем наконец достала пачку с грубо напечатанным кусочком карты, выбила папиросу, привычно сплющила пальцами мундштук.

– Несчастливая девочка, – произнесла она, выпуская дым.

– Девочка очень несчастна, – отозвался отец Лотар. – Только я говорю не о младшей девочке, а о той, что старше. Валери выше нашего человеческого понимания, ей доступны утешения, которых мы не можем вообразить. Она – цельная натура, цельно даже самое ее страдание. А Жанну Сентвиль раздирают надвое сердце и душа – словно лошади равной силы.

– Для вас это разные вещи, я помню. Для меня – нет.

– Так ли, Софи? А вы не забыли, чем грозились на днях?

– Конечно же нет. Я действительно хочу вам кое о чем рассказать, отец. Быть может даже сегодня, вечером. Это удобно для вас?

– Ближе к полуночи, да. Сейчас я должен выбраться в гетто, к умирающему. Бог весть, сколько времени я там пробуду. Но вас я буду ждать.

Жанна уже бежала между тем по коридору, также примыкавшему к церкви, увлекая гостя за собой. Перед очередной овальной металлической дверью она остановилась, надавила на какую-то металлическую же панель.

– Ну вот, странноприимная келья. Правда, здесь часто монахи останавливаются, которые не здешние.

Крошечная комнатка походила больше всего на корабельную каюту, как их, во всяком случае, показывали в старых фильмах. Не было только что иллюминатора. Но потолок висел прямо над головой, кровать крепилась к стене. Жанна пару раз толкнула туда-сюда дверцы встроенного шкафа, продемонстрировав пустое отделение для одежды и полки, на которых лежали сложенные одеяла и стояли несколько книг. За матовым стеклом в углу угадывался маленький душ. Больше ничего и не было, кроме стеклянного столика на единственной изогнутой стальной ноге. Эжен-Оливье уже не удивился небольшому деревянному кресту на стене с заткнутыми за него сухими веточками можжевельника.

– Шик. Отель «Лютеция».

– А вот план отеля, – Жанна вытащила из шкафа листок с какой-то схемой. – Бомбоубежище на самом деле не такое большое, как кажется. Но когда схемы не знаешь, можно запутаться. А тебе какие документы рисуют?

– Обыкновенные, жителя гетто, с рабочим правом на выход. Кем это я работаю вне гетто, пока не знаю. Уборщиком на улицах, скорей всего.

– Коллаборационистские лучше, больше свободы маневра.

– Гимнастикой заниматься? Да ни за какие коврижки!

Жанна понимающе кивнула, взгляды юноши и девушки встретились. «Гимнастикой» на молодежном жаргоне назывался намаз. Что же касается документов, то радикальный шариат сыграл на руку подпольщикам: их можно было менять сколько угодно, не глядя на лицо, хоть женские дела мужчине, лишь бы совпадали отпечатки пальцев. Пальцы были единственной определяющей деталью, но чтобы поймать по ним, надо поднимать электронную картотеку. Каждый раз никто этим заморачиваться не станет. Это не фотография, которую можно развесить по всем углам, не компьютерный портрет, который можно показывать свидетелям. Еще в первом десятилетии XXI века женщины-мусульманки выторговали себе право закрывать на фотографиях волосы и уши. Через десять лет пришлось разрешить не фотографировать женщин-мусульманок вообще, дабы не обнажать перед бесстыжими госчиновниками их целомудренные лица. Ну а после переворота осталось лишь добавить, что любой портрет есть изображение человеческого лица, то есть греховен по самой сути.

Эжен-Оливье знал, что в высших и срединных эшелонах полиции, где работают образованные выходцы из европеизированных семей, тех, что три-четыре поколения жили во Франции, изо всех сил пытаются продавить возврат документов старого образца, хотя бы для мужчин. Они-то понимают, насколько это облегчит жизнь им и осложнит ее подполью. Но все попытки, к счастью, разбиваются о косность правительственных кругов.

– Ну ладно, если что понадобится, шагай строго по карте! Здесь всегда кто-нибудь да есть, – Жанна выскользнула в дверь.

Эжен-Оливье остался один. Один и в полной безопасности, все впервые за день. Роскошь.

Он заглянул в шкаф: четыре одинаковых тома в кожаных переплетах, с тиснением монограмм Христа, Бревиарии²⁷, надо же, даже не «*Liturgia horarum*»²⁸. По временам года, значит. А вот нормальных книг до обидного мало: жизнеописание Монсеньора Марселя Лефевра, изданное в начале века издательством «Клови», это тоже с натяжкой можно отнести к нормальным книгам. Затесались несколько детских: «Маленький герцог» Шарлотты Йонж на англий-

²⁷ *Бревиарий* (лат. *breviarium*, от *brevis* – краткий) – богослужебная книга Западной Церкви, содержащая чинопоследования ежедневных служб, обязательных для прочтения каждым клириком. В результате богослужебных реформ в Римско-католической Церкви в 1970 г. Бревиарий вышел из употребления, но сохранился у католиков-традиционалистов.

²⁸ «*Liturgia horarum*» (лат. литургия часов) – сборник богослужебных чинов, введенный в Римско-католической Церкви в 1970 г. вместо *Бревиария*. Структура богослужений, помещенных в «*Liturgia horarum*», была серьезным образом изменена, а сами богослужения подверглись существенным изменениям и сокращениям.

ском и «Государь» Жана Распая. А вот это уже теплее! «Государя» он как-то начинал читать, но не успел, книгу, дело было в гетто, отобрали у хозяев.

Эжен-Оливье с удовольствием откинул от стенки легкую койку и улегся. Можно читать целые сутки! Ну и денек выдался, надо сказать. «Воротил черта в пекло», увидел еще одно шариатское убийство, обнаружил самых настоящих христиан, еще раз встретился с Софией Севазмиу и опять говорил с ней, а еще он, кажется... Раскрытая книга выскользнула из рук. Но лицо, вспыхнувшее перед его закрывающимися глазами, не было, тем не менее, милым, уже невыносимо дорогим лицом Жанны. Это было неистово красивое, снедаемое профетическим гневом личико Валери.

ГЛАВА III

Слободан

Порывы весеннего ветра играли в темноте, словно добрые ночные духи. Они теребили волосы, лезли за воротник шелковой пижамной куртки. Стоять на балконе двадцатого этажа было холодновато, но уходить в теплые ярко освещенные комнаты не хотелось. Париж лежал внизу, тихий, спящий, каким он и бывает всегда, кроме рамадана, когда улицы шумят и переливаются огни: правоверные, любуясь видом Сены и мечетью Аль Франкони, что была когда-то собором Нотр-Дам, сидят до утра в роскошном ресторане «Арабского мира», у «Максима» или у «Прокопа», а если средства не позволяют ни их, ни «Гран Вефура», ни «Фуке», то набивают утробу жареным на углях мясом в ресторанчике на площади Бастилии или наедаются кускусом в каком-нибудь «Шарли де Баб-эль-уад». К счастью, рамадан позади. Парижские ночи безлюдны.

Как же отдыхает он в этой тишине, и как хорошо, что он выбрал квартиру на высоком этаже, много выше, чем предписано не иметь окон наружу.

Не хотелось даже спать, слишком драгоценны оставшиеся несколько часов. Скоро динамики наполнятся воплями муэдзинов, а шайтан пойдет по Парижу дозором, мочиться в уши тем правоверным, что не довольно благочестивы и не поднялись на раннюю молитву.

Так вам и надо, французы, Господи Боже, разве вы этого не заслужили? Разве вы сами вчера не лепили своими руками сегодняшний день? Живите в нем, потому, что Бог есть.

Вы ничего не знали об истории Сербии, вы ничего не знали о Косово. Вы не знали о том, как сербы *погибали славно* на Косовом поле, когда, защищая свою колыбель, воины князя Лазаря встали на пути у неисчислимых войск султана Мурада. Вы не знали, как Баязид шел смертоносней чумы, а на пепелищах селились по его следам мусульмане-албанцы.

Пять сотен лет под Османской империей! Вы не знали, каким проклятьем была Османская империя, вы не знали, сколько сербской крови пролилось ради победы над нею. Меньше тридцати лет, как на берега Ситницы вернулись сербы, и вновь изгнание. Новым Баязидом оказался Адольф Гитлер, что же вы, гуманные европейцы, забыли об этом? Кто из вас, рукоплещущих бомбежкам Белграда, хотя бы слышал в школе, что не кто иной, как Гитлер, свергнув серба Петра II, швырнул Косово, как подачку, албанцу Зогу I? И за новым Баязидом сербских земель снова шли албанцы, как учуявшие трупную поживу гиены, снова селились в опустевших домах, снова пожинали урожай сербских полей. Но сколько ж войска понадобилось держать на этих землях Гитлеру и Муссолини, чтобы Косово оставалось албанским! Вы, европейцы, раздувшие такой мыльный пузырь из своего слишком позднего Второго фронта, сказали хоть раз сербам спасибо за то, что армия четников²⁹ Дражи Михайловича начала бить гитлеровцев куда раньше, чем вы?

Что же вас так разобрало помогать албанцам восстанавливать карту по Гитлеру, что заставляло вас так охотно верить любой самой нелепой лжи о зверствах сербов?

Да ясно, не что, а кто. Вас усыкали, вас водили за ниточки собственные мусульманские диаспоры – а вы, игрушки кукловодов, считали себя борцами за какие-то «права человека», просвещенными гуманистами, меж тем как были всего лишь предателями христианской цивилизации.

²⁹ Четники – сербские монархисты.

«Христианин, за турка – на Христа?!
Христианин – защитник Магомета?
Позор на вас, отступники Креста,
Гасители Божественного Света!»

Так, кажется? А ведь Достоевского вы тогда еще читали, могли бы вспомнить стишок. Это теперь вы не знаете, кто такой Достоевский. Так вам и надо.

Милошевич был ушлым битым старым волком, но вы теснили его красными флажками, вы заставляли его отступать и отступаться. И на его седины лег позор Дейтонского мира, но и этого вам не хватило. А когда он понял, что больше отступать некуда, началась новая война. Ох, как же зорко ваши «миротворцы» следили, чтобы сербы не подняли головы! За этим они, положим, следили, а вот 1997 год проглядели у себя под носом. И когда в вашей тени выросла гнилой поганкой АОК и начала уже не мифическую, а настоящую «этническую чистку», вы были слепы, хуже, чем слепы. Вы крутили по своим телеканалам красивенькие ролики, показывая, как косовары покрывают гробы погибших товарищей красными знаменами в черных орлах, как гремит ружейный салют, как дикие розы колышутся над свежими могильными холмами. А ваши герои за кадром вырезали крестьянские семьи, убивали учителей и священников. А когда Милошевич попробовал рыпнуться, на Сербию полетели бомбы.

Храмы, простоявшие почти десять веков, легли в руины под вашими бомбами. Ладно, это не ваши святыни. Но в чем же ваше отличие от афганских талибов, взорвавших скальные статуи?

Милошевич не один раз сдавал сербов, а затем сербы сдали Милошевича. XX век был неблагородным веком. Нашим уставшим противостоять всему Западу родителям Милошевич показался той лапой, которую можно отгрызть, чтобы выбраться из капкана. Смешно.

Ведь вашим собственным, таким цивилизованным мусульманам Косово было нужно как дорожный узел наркоторговли. Речь шла о слишком больших деньгах, чтобы у сербов остался какой-то шанс.

И в центре европейской наркоторговли, в Косове, стало спокойно. Когда последний серб был выжит или зарезан, когда последний православный храм был разрушен и осквернен. И миротворцев вывели за ненадобностью.

А отравы бурлила в котле, а грязная пена подымалась, покуда, наконец, не хлынула через край. И Буяновац, Прешево, Медведже разделили судьбу Косова.

А сербов теснили и теснили. А когда Белград сделался столицей Великой Албании, Евро-союз уже сам боялся. И продолжал давать в страхе то, что раньше давал сдуру.

Пусть парижанки ходят теперь в паранджах, их бабки вздыхали над кадрами с розами над могилами косоваров.

Слободану Вуковичу было пятьдесят лет, но события своего младенчества он помнил с неправдоподобной отчетливостью.

Он помнил дом, похожий снаружи на недолупленное Пасхальное яичко: ярко побеленный известкой, под коричнево-рыжей черепичною кровлей. Внутри стены были выкрашены в теплый терракотовый цвет. Керамический пол, натертый воском до блеска, скрипучие деревянные лестницы. Двухлетний мальчик сползал по ним, держась за низы перил, к камину, в который мать складывала уже рождественские поленья-бадняки. Их еще надо было присыпать белой мукой, полить вином.

Это было последнее Рождество в родном доме, в Приштине. Пасху, вслед за ним, тоже еще праздновали дома, но это была слишком уж безрадостная военная Пасха. Война. Если только можно назвать войной летящие с неба бомбы, вездесущее присутствие безнаказанного, невидимого, недосыгаемого врага. Были и другие враги, рядом, торжествующие, уверен-

ные, что теперь не может не настать дня, когда межэтнических конфликтов в Косове больше не будет: последний серб покинет его вперед ногами.

Он не знал, не знал наверное, где и когда увидел детскими глазами запомнившуюся до мельчайших подробностей картину: монахини в красных нимбах собственной крови, каждая – с перерезанным горлом, на белесой земле, осколки разбитых икон, разбитая дверь храма... Так ли важно, когда и где? Сколько их было, таких мучеников, таких храмов!

Бегство из Косова в Белград – в три года, когда мать читала молитвы часами напролет, прижимая ребенка к себе, в безумном страхе, покуда старенькая малолитражка тряслась по разбитой войной дороге...

Уже не такая страшная, но еще более безнадежная – эмиграция из Белграда. Исход из Белграда. Исход из Сербии.

Потом была юность в Белграде-на-Амуре, новеньком с иголочки, растущем ввысь, как грибы после дождя. Какой только могучий ум измыслил этот план – предоставить трем сотням тысяч уцелевших сербов автономию близ Китая? Некоторые говорили тогда и потом, что Россия решила просто загрести жар чужими руками, но Слободан никогда так не считал. Трудно демобилизованному военному приспособиться к «гражданке», это знают все, но кто понимает, что не легче демобилизованному народу? Кровь не сразу остывает. Напряжение от чреватого агрессией соседства сыграло благую роль. Когда-то же были уже в русской истории казаки. А серьезных пограничных эпизодов даже не возникло. Что, впрочем, тоже понятно.

Подобная юность, надо сказать, не разнежила. Но все же многие сверстники, вырастая, входили в колею пусть и «казаческого», но мирного созидания, обзаводились семьями, начинали воспитывать первое рожденное после Сербии поколение сербов. Слободан не смог. Девятнадцатилетним мальчишкой он приехал (именно что приехал, не прилетел, билет на самолет с Амура был не по карману) в Москву. Сербские юноши освобождались тогда от армейской службы, куда более дельной заменой ей были постоянные местные сборы, от шестнадцати до двадцати пяти лет, по месяцу в год. Юный Слобо имел за плечами разряд по стрельбе, приличное число парашютных прыжков, права шофера и летчика, навыки сапера и минера. Еще у него было ввевшееся в плоть и кровь, похожее на несмываемую грязь знание мусульман, генетическое, детское, жадно впитанное из рассказов стариков, вычитанное из книг. Он желал одного – вернуться в Косово.

Но вместо Косово ему предложили через семь лет Францию, одну из трех лидирующих стран евроисламского блока. Что ж, ребяческая жажда мести уже была сбалансирована взрослыми амбициями интеллекта. Он превосходно понимал, что французское поле деятельности интереснее и много шире. Он согласился, хотя по правде настоящее, самое важное согласие давал не блистательно образованный двадцатилетний аспирант Вукович, а самоуверенный в своем невежестве девятнадцатилетний Слобо.

Ко многому он оказался не готов, не готов вопреки всей подготовке. Он всегда настраивал себя на взаимодействие с тупыми безличностными скотами, на скорую руку слепленными из алчности, похоти и садизма, выпеченными в формах религиозного фанатизма. Но по роду деятельности больше всего вращаться пришлось среди совсем иных мусульман – интеллектуальных, наделенных изрядным количеством вполне человеческих черт. Именно они-то и ушли в научную деятельность, после того как, к собственному шоку, дорога во власть оказалась не то чтобы вовсе перекрыта, но чревата слишком большим количеством огорчений.

О, многих, очень многих из них он при всем напряжении фантазии не мог бы представить потешающимися над человеческой агонией, своими руками перерезающими живое горло! Они были для этого слишком культурны, слишком нормальны – мусульмане третьего или четвертого французского поколения. Они учились в хороших английских и французских школах, они не всякий день в детстве помнили, кто они и что несут этому гостеприимному миру. И они

также получили тем не менее то, за что боролись, пусть и с парадоксальным для себя результатом.

Это ведь их собственная сказка, про выпущенного из бутылки джинна. Образованные, с европейским лоском, весьма удачно орнаментирующим мусульманский быт, они захватывали все больше влияния, опираясь в том числе на толпы невежественной бедноты, для которой настежь распахнули ворота границ. Они думали, что лет через сто Европа просто проснется в одно прекрасное утро полностью исламской и даже никто не заметит, какое утро будет именно этим. Могли ли они знать, что много раньше не обученные стратегиям, а потому не умеющие и нежелающие ждать темные толпы вскипят, выплеснутся через край, разольются смертоносным потоком, движению которого им, просвещенным европейцам во втором или третьем поколении, придется покориться, чтобы не утонуть самим.

Только потому и возникли Маки и катакомбы, что нетерпение черни вырвалось наружу слишком рано.

Французское Соппротивление не вызывало у Слободана ни симпатии, ни сострадания. Он всего лишь учитывал его существование, но без существенного резона ни при каких обстоятельствах и ничем не поступился бы в их пользу. Пусть думают о себе сами. Он третий десяток лет сидит во Франции ради благополучия православного мира. Хотя, надо признаться, личная цена, которую он, косовский серб Слободан Вукович, платит за это благополучие, весьма велика. Ох, не всякий православный решился бы на такое мотовство.

Может быть в старости, если повезет до нее дожить, он сумеет замолить свой грех. Лучше бы всего на Афоне, в одном из самых глухих скитов. Ах, греки, вы, конечно, отделались дешевле итальянцев, Греция осталась христианской страной. Но каким национальным унижением отлилась вам былая надменность! Во всех преуспевающих в конце XX века странах цвели махровым цветом греческие диаспоры, и везде греки жили на еврейский манер. Микрокосмом в макрокосме, помогая друг дружке, но не помышляя даже свидетельствовать истину. Православие греки от рождения привыкли считать национальной привилегией, православных негреков – второсортными и ненужными. Вот тебе и «несть эллина»!.. Греческие общины не раздражали никого и нигде – они ведь не занимались миссионерством. Единственное, что они в конце концов сумели сделать, они тоже сделали для своих. Когда евроислам подступил к Греции, миллионеры всех диаспор сложились и предложили выкуп. Сумма была столь неправдоподобна, что совокупное правительство Франции, Германии и Англии не смогло устоять. И вот греки теперь – данники ислама, они платят за неприкосновенность своей родины, как платила татарам Русь. За одним исключением, и против этого исключения греки не имели возможности протестовать – за него денег не брали! С горой Афон евроислам хотел покончить во что бы то ни стало. Сохранились жуткие кадры хроник, монахи готовились умереть. Страшный колокольный звон кричал над святой горой о конце, призывал к мученичеству. А суда и грузовики с развеселыми молодчиками в зеленых повязках, в камуфляже, с вечными калашниковыми, с превосходным альпинистским снаряжением, уже шли к Афону в Пасхальное утро 2033 года.

Подошедший первым корабль переломился пополам словно пряник в руках ребенка. Вода заполнила трюмы стремительным ударом – никто не успел понять, что происходит, прежде чем стало уже некому что-либо понимать. В это же, как выяснилось потом, время взорвался бензобак головного грузовика. Второй корабль получил пробоину в носовой части, и многих, что барахтались в воде, успели поднять на третий корабль еще до того, как он повторил участь первого. У нескольких грузовиков просто заглохли моторы.

Войска оттянулись назад в ожидании подкрепления против нежданного противника. Но противника не было. Никто не стрелял со скал «монашеской страны» в три вертолета с десантниками, разбившимися на подлете к Афону. Вертолеты упали просто так, ни с того ни с сего. Три месяца длилась непонятная война. Пушки давились собственными снарядами, калеча орудийную прислугу. Здоровехонькие солдаты присаживались отдохнуть в тени кипа-

рисов и оставались неподвижны, а военным врачам оставалось только заверять разрыв сердца. Кому-то парализовало ноги, и он выл, загребая руками белесую пыль, но уже никто не спешил на помощь, солдаты в ужасе шарахались прочь, словно боясь заразы. Но кого-то из отступивших уже бил лихорадочный, еще не подмеченный, жар, уже частил в лихорадке пульс. Трое ослепло, двое оглохло. Один просто сошел с ума и, вообразив себя ребенком, плакал и просил лимонный леденец на палочке.

Войска не были отведены, они бежали, бежали вопреки приказам, подавив друг друга в таком количестве, что куда там ежегодному хаджу.

Афон отстоял себя сам, но в Европе об этом даже не узнали. Телевидение и газеты давно уже находились под цензурой, пользование интернетом ограничилось посредством информационных фильтров, впервые внедренных когда-то в Китае и Корее.

Что же, Афон не для Греции, Афон для всех. Выходит, что пороки нации отлились грекам позором, а вот поляки, пожалуй, на своих недостатках выгадали.

Они ведь всегда были безумными националистами, эти прижимистые ляхи. И упертость в них всегда была сильнее прижимистости, сильнее всего. После Второй мировой, когда ошарашенное Гитлером человечество страшилось как чумы обвинений в антисемитизме, поляки были единственной нацией, не впавшей во всеобщую рефлексю. Лет за десять они потихоньку выдавили из страны еврейство – момент был уж больно удачен, ведь фашисты его изрядно поубавили. Когда еще дождешься такого случая? Поляки всегда шли наособицу, всегда по-своему. Поляки, поляки, ни на кого не похожий народец... В прежние времена задрали всю Европу неистребимым стремлением устраивать на своем пути гешефты, верно, позаимствованным у ими же выдвинутых евреев. Жестокие, почти не способные к великодушию, мелочные прагматики. И все же, все же – глубоко, самозабвенно верующие. Куда истовее верящие, чем более изысканные и менее заземленные нации. Вот и в XXI столетии поляки пошли не общей дорогой. Первыми из бывшего соцблока не побоялись они понять, что им вовсе не нужны мусульманские людские потоки из третьего мира. В первые годы польского членства в ЕС обильных потоков и не было, уровень жизни уступал староевропейскому, что делало Польшу, Чехию, Венгрию, Литву с Латвией менее соблазнительными для несчастных мигрантов. Поди в начале XXI века побездельничай на эстонское пособие по безработице! Но различье потихоньку сглаживалось, и мигранты, так уж и быть, хлынули в бывшие соцстраны. Еще раздраемые комплексом своей новизны, свежеиспеченные езовцы терпели, боясь показать недостаточную приверженность идеалам демократии. Но поляки засопровтивлялись сразу. Сперва это был тихий бюрократический саботаж, но его оказалось мало. И тогда поляки сделали ход конем – тогдашний президент Польши Марек Стасинский объявил о выходе страны из ЕС и НАТО! О добровольном выходе Польши оттуда, куда она рвалась столько лет! И президента Стасинского чествовали как национального героя.

Вконец замерзнув на балконе, Слободан вернулся в квартиру, прошел на кухню. Ох, уж эта русская привычка гонять чай бессонными ночами, размышляя о судьбах человечества! Ну, это уж с кем поведешься. С куда большим удовольствием он бы сейчас отдал должное другой русской привычке, выпил бы не чаю, а можжевеловой, пожалуй. Да, как раз можжевеловой. Две стопки, и вся бессонница как с куста вместе с исторической геополитикой. А закусил бы розовым лепестком сала, прозрачно-тонко отрезанным от брусочка в ржавой перечной корочке. Э, стоп машина! Как сказали бы опять же русские, никогда еще Штирлиц не был так близок к провалу. Даже думать нельзя ни о можжевеловой водке, ни о сале. А вот поляки едят сейчас сало, и шпикачки, и эскалопы, и карбонат, и кровяную колбасу.

Дорого же им это далось! Оппозиция объявляла Стасинского сумасшедшим: граничить с Германией, где и армия-то уже на три четверти из мусульман, и не играть по общеевропейским правилам?! Но народ верил президенту и верил не зря. Второй польский финт был еще круче первого. Знаменитый пакт от 5 мая 2034 года поверг бывший соцлагерь в неистовство.

Впрочем, и старая Европа впала в оторопь, увидевши в одно прекрасное утро русские войска на германской границе.

Понятное дело, Польша не воспылала вдруг любовью к России, но просто в очередной раз показала себя реалисткой. Без русского военного присутствия вооруженное вторжение в Польшу евроислама было бы лишь вопросом времени. Но и России хотелось отодвинуть от себя подальше границы евроислама. Лучше иметь между ним и собой страну-буфер, чем граничить прямо. Всего лишь взаимная выгода двух стран, связанных тысячелетием взаимных грабежей. Впрочем, старый враг тоже лучше новых двух. Ох, не поверили бы дедушки-бабушки нынешних ляхов, узнай в замшелом каком-нибудь 1990 году, что русские войска не только расположатся в Польше, но и сделают это к вящему удовольствию их собственных внуков! Не поверили бы, нипочем бы не поверили! Тем не менее военные признают: служить сейчас в Польше – милое дело. Опасно, конечно, на границе постреливают, но зато редкое воскресенье выдаться без приглашения на праздничный обед в какую-нибудь семью.

Да, праздничный воскресный обед, ведь у поляков, как и у русских, празднуют воскресенье, а не пятницу. Поляки остались католиками. Когда наступил злобещий 2031 год и Папа в Риме сложил сан, ровно через месяц над доминиканским монастырем Святой Троицы в Кракове воскурился белый дымок³⁰. Новый папский престол установился в Польше, пусть даже ее границы и сделались заодно границами католического мира. Сгоряча польское духовенство заговорило даже о Старой Мессе, но, во всяком случае, до латыни дело не дошло. Ее больше никто не знал, да и как служить Тридент³¹, строго говоря, никто не знал тоже. Самые старые из священников все же стали его практиковать как могли, но по-польски. Остальные же, ученые горьким опытом, поспешили избавиться хотя бы от одного наследия общеевропейского католицизма XX века: от экуменизма. Экуменизм признали страшнейшей из ересей, слова «ересь» в XXI веке перестали бояться.

Вот так вот. Польша – альфа и она же омега современного католицизма. Католицизм как религия одной страны – да кто б такое мог придумать в конце XX столетия! (Где-то вдали, впрочем, есть еще и Латинская Америка, но там своего Папу не выбирали, а подчиниться польскому не захотели). История мчит своим страшным непредсказуемым ходом, а в Польше по-прежнему горят себе по сторонам дорог простодушные фонарики маленьких часовен, в цветах, искусственных зимой, с раскрашенными по-детски статуями.

Порадовавшись за поляков, избавленных от халяльной³² копченой колбасы из конины, Слободан мрачно отворил холодильник. Дремучий непрофессионализм, как ни крути. А все-таки не может он есть мяса забитого по-ихнему скота. Слишком уж запомнилось с младенческих глаз, что с одинаковым они выражением лица режут горло барану и человеку. И слова те же, это «бисмиллах аллоху акбар»³³. То есть в первом случае они обязательны, но и во втором случается. Претит. Приходится отговариваться плохой реакцией желудка на мясное. В свое время они пытались разобраться с этим с психологом из ГРУ. «Нет, лучше этого не перебарывать, – в конце концов сказал тот. – Слишком мощный болевой пласт может вскрыться.

³⁰ ...воскурился белый дымок... – во время избрания Римского Папы в помещении, где проходят выборы, вместе со специальной белой соломой сжигаются выборные бюллетени, и белый дым свидетельствует собравшимся снаружи об успешно завершившемся голосовании.

³¹ *Тридент* – т. е. Тридентский чин Мессы. Согласно решениям Тридентского Собора Римско-католической Церкви (1545—1563) Папа Пий V (1566—1572) в 1570 году утвердил этот чин, представляющий собой унифицированную редакцию более древних чинов Мессы.

³² Халяльные продукты – так же, как и кошерные в иудаизме, это продукты, имеющие ограничения по содержанию (не могут быть из свинины и др.) и отвечающие ряду требований при изготовлении (например обескровленность мяса). В этом ислам и иудаизм схожи и существенно отличны от христианства. Скоромная пища христиан является запретной не вообще, но только в постное время. В христианстве отсутствует также архаическое совмещение профессий повара и жреца.

³³ Именем Аллаха, Аллах самый великий (араб.) – ритуальные слова мясника. Животные, зарезанные без этих слов, не являются *халяльной* пищей.

Вообще он под контролем, психика его сама изолентой оборачивает. Но вот трогать ничего не надо. Хотя это, конечно, риск».

Еще бы не риск. Однако лучшей кандидатуры все равно не было, усмехнулся Слободан, с отвращением взрезая питу. Если набить персиковым вареньем, к чаю сойдет. Особенно когда разогреешь в микроволновке. Вот от этого то он и полнеет, но не гонять же пустую воду.

Да, много чего изменилось после того, как распался блок НАТО. Ослабевшей Америке сейчас только до себя. Что она представляет собою? Белый христианский Юг и похожий на лоскутное одеяло Север: местами негритянский, местами мусульманский, местами – еврейский. Юг и Север тянут на себя одеяло в Сенате и Конгрессе, покуда удастся поддерживать хрупкий баланс, не впадая в гражданскую войну. Но южным американским христианам очень повезло, что им противостоят не сплоченные мусульмане, а три враждующих меж собой религии, включая и вудаизм. Ни одна не хочет жесткого христианского реванша, это их и объединяет. Ну и ладно, поиграли в вершители мировых судеб. Довольно с вас. Об Америке вообще можно подолгу сейчас не помнить. Важно лишь то, что близко, то, что происходит на границах России и Евроислама. В это противостояние втянуто все и вся. Кто меньше, кто больше, конечно.

Наособицу стоит среди исламских стран Турция, так и не пожелавшая изменить свой традиционный статус светского государства. Что, конечно, не помешало ей на правах сильного вспомнить о старом договоре с царской Россией и преспокойно откусить у Украины Крым. Ну да от хохлов сейчас только беззубый не кусает. На русских территориях протекторат, там войска. И какая-то дикая Сечь посреди XXI столетия на незалежных территориях. Рисовать карту бесполезно, власть меняется с христианской на мусульманскую и наоборот что ни день. Не то что в каждом городе, в каждом селе. Впрочем, внешне сразу и не скажешь, на чьей улице праздник: странная привычка у хохлов – воевали с ляхами, ходили на ляхов, теперь от мусульман не отличишь, разгуливают в банданах, бороды поотпускали. Электричество дают раз в месяц, в городах, понятно. В селах нету даже керосина.

Куда умней оказались в свое время белорусы, вовремя вошедшие в состав России. Теперь небось и не помнят о сиротливых бумажках-«зайчиках», стоивших дешевле своей бумаги, распиравшей кошельки дедушек-бабушек своей безрадостно обильной массой.

Мусульмане в России есть, та же Казань. Но татары издавна умели жить в европейском социуме, сейчас с ними нет проблем. Вообще всех российских мусульман в евроисламском мире почитают почти отступниками за их спокойную умеренность. Зато сколько образованных беженцев из Европы пополнили мусульманские области России, прежде чем упал «зеленый занавес»!

Нельзя сказать, что российских мусульман уж слишком огорчает нелюбовь Европы. Их много, они живут сами в себе, и не так уж плохо живут, надо сказать.

Узбекистан и Таджикистан фактически находятся под российским протекторатом. Эти страны в слишком большом запустении, чтобы представлять опасность. Въезд из них, как и из всех стран Средней Азии, ограничен.

Курьезное исключение среди мусульманских народов – независимая Туркмения. Там правит четвертая, что ли, реинкарнация Туркменбаши. Уже сложился обычай, что Туркменбаши реинкарнирует в первом ребенке мужского пола, который рождается в правящем клане после смерти предыдущего воплощения. Ладно, всем весело, кроме, понятно, самих туркмен, у которых хрен разберешь со стороны, что в головах делается.

А что же гордая и независимая маленькая Чечня, главная головная боль России на рубеже столетий? Да ничего. Чечня сидит тише воды ниже травы, поскольку Россия сильна. Денежные артерии терроризма перекрыты, иностранных вливаний нет. Нет и дураков бунтовать бесплатно. Господи, только бы не забылось, не стерлось, что на самом деле это всегда будет пятая колонна, микроб чудовищных болезней, безмятежно спящий хоть миллион лет в соляном кри-

сталле. Да нет, теперь уж не забудется. В истории России было слишком много подобных ошибок, а ныне ошибаться нельзя.

В который раз в бессонные ночи карта мира проплывает перед его глазами. Иногда виртуальная эта карта движется ровно, словно пряжа в руках сербской старухи-крестьянки. Иной раз какой-то фрагмент вдруг меняет масштаб, разрастается, будь то Израиль, необычайно усилившийся благодаря массовой эмиграции десятых годов, начало которой положил некогда призыв Шарона, или вовсе Австралия, оставшаяся идиллическим оазисом старинной западной жизни, но не играющая существенной роли в мировом раскладе, Япония ли, еще больше замкнувшаяся в своей культурной обособленности, словно жемчужина, вернувшаяся в раковину, Индия ли, живущая в перманентной войне, не проигранной до сих пор только благодаря многочисленности своего населения.

А кто он сам, Слободан Вукович, погруженный мыслями в геополитический калейдоскоп? Человек, заместивший абстракциями страсти, или просто тщательно выверенный прибор, фиксирующий баланс сил?

А если второе, то стрелка прибора подозрительно подрагивает. Что-то может сместиться. Об этом шепчет ночной Париж за окнами его фешенебельных апартаментов, об этом разевает пасть давно остывшая пита на мейсонской тарелке, об этом стучит кровь в висках.

Баланс может нарушиться.

ГЛАВА IV

Исповедь без конфессионала

Эстония, 2006 год

Анне Вирве приоткрыла створку новенького стеклопакета, и в комнату тут же ворвался шум Нарва Манте. Да, хоть окна и не выходят на само шоссе, но это, конечно, существенный изъян квартиры. Второй изъян – под окнами с шоссе сворачивают трамвайные пути. Есть и третий – потолки уж слишком низкие. Но что толку огорчаться, другое стоит других денег, совсем других. Не каждая самостоятельная женщина может купить в наше время к тридцати годам четырехкомнатную квартиру почти в центре Таллина. Почти в центре, впрочем, это как сказать. Что касается жителей этих утомительных мегаполисов, для них «почти центр» это минут двадцать ехать. В Таллине пятнадцать минут пешком от башенок Виру – конечно, не окраина, но все же...

Анне решительно затворила окно. При хорошем кондиционере загазованный уличный воздух и не нужен. Хватит себя терзать вопросом, возможно ли было приобрести на свои деньги что-нибудь получше. Прежде всего гадать поздно, дело сделано. Ну и потом она без того ждала слишком долго. Ведь в последние шесть лет серьезные заработки прекратились, приходилось выкраивать гроши – по какой-нибудь жалкой сотне евро в месяц иной раз. А годы не ждут – пора устраивать жизнь. Разве нищая, ютящаяся в комнатке у родителей, в паршивом районе Ыйсмяэ, может рассчитывать найти себе достойную партию? Смешно. И дело ни в каком не в расчете, глупости, дело в стиле жизни.

И квартира совсем не дурна. Кухня отделена от улицы квадратной хорошенькой лоджией. Анне долго колебалась при ремонте: не увеличить ли саму кухню сносом внутренней перегородки? Вышла бы кухня-столовая. Но удержалась, и хорошо сделала: уже не модно выставлять напоказ мойки и холодильники-морозильники. Получилось куда лучше: из гостиной выход в зимний садик, а через стеклянную стену маленькой кухни видны лохматые зеленые заросли. Анне с улыбкой потрепала рукой гриву папируса, вскинувшего султан над керамической кадкой. Влезла даже скамеечка – один гость или два смогут удалиться сюда из гостиной со своим кофе.

Ох, сколько денег ушло на эту гостиную! Вспомнить страшно, что тут было, когда она купила квартиру. Обои с какими-то старомодными узорами на неровных стенах, серый линолеум в черных проплешинах. Кажется, прежними владельцами были какие-то старички. Пенсионеры сплошь и рядом переезжают в однокомнатные, большая площадь им нынче не по карману. Одно отопление во сколько встает! Не будь таких случаев, жилье стоило бы еще дороже.

Но чего действительно жаль – высота ну никак не позволила подвесных потолков. Ну да ладно, мебель ИКЕА и без того создает современный и функциональный стиль. Вот ведь, что любопытно: ИКЕА считается народной мебелью, но вместе с тем как раз она и способна впечатлить достатком владельца. Секрет прост: чтобы функциональная мебель играла, только ею должен быть обставлен весь дом, а это уже говорит о немалых суммах. (В счет не идут, конечно, нарочно выставленные «бабушкины» предметы. У Анне такую роль успешно играет швейная машина Зингера с ножным приводом. . .) А то некоторые расставят современные стеллажи среди немодных диванов и столов, едва не с советских времен уцелевших – жалкое зрелище!

Весело затренькал домофон. (А все-таки видеочка у подъезда нужна, надо обсудить с другими владельцами!)

– Международный фонд «Проблемы демократии», – представился по-английски молодой женский голос. – Добровольный социологический опрос. Вы желаете уделить несколько минут на заполнение нашей анкеты?

Анне мгновение колебалась. С одной стороны, с тех пор, как Эстония член ЕС, всевозможные социологи и общественники не дают покоя. Но тем не менее приятно принять в новом доме культурного человека.

Второй довод пересилил.

– Заходите, – пригласила она, вдавливая кнопку. Ее английский не безупречен, но стыдиться не приходится.

Гостья, действительно молодая, пожалуй, совсем молодая женщина, несколько разочаровала на первый взгляд. Худенькая и невысокая, она была одета, как любят одеваться образованные представительницы старой Европы. Кроссовки, черные джинсы, темная водолазка, розовая ветровка. Каштановые длинные волосы распущены по плечам, хорошо, если парикмахер касался хотя бы челки. Поди разберись, в трейлере она живет или в родовом замке, никогда по таким не скажешь. Не очень-то приятно иметь дело с людьми, которые не желают признавать правил игры.

– Проходите, пожалуйста, в гостиную, – Анне подавила сожаление о потерянном времени. Едва ли эта девчонка, студентка скорей всего, обратит внимание на то, как красиво выделяются светлые буковые конструкции на фоне идеально ровных синих стен, на огромный «домашний кинотеатр» с плазменным экраном. Два метра на полтора между тем. Занял почти всю дальнюю стену.

– У вас красиво.

– Вам нравится? – Анне просияла от неожиданности. – Я только что переехала в эту квартиру.

Усевшись в плетеном кресле, девушка тут же вытащила из кармана ветровки компьютер и принялась тыкать стилосом по клавишам. Была какая-то странная неловкость в том, как она держала вещь в левой руке.

– Вы не откажетесь от чашки кофе?

– Спасибо, быть может, позже. – Только сейчас Анне обратила внимание на своеобразный голос девушки: звонкий, но вместе с тем хрипловатый.

Анне вдруг расхотелось демонстрировать новое жилье. Что-то непонятное было в этой девушке, между тем уже бойко набившей в свой компьютер возраст, пол, семейное положение, род занятий, любимые виды спорта – горные лыжи, стрельба. Ладно, глядишь, это долго не продлится.

– Нас интересует мнение коренных жителей Эстонии, различного возраста и имущественного положения, относительно проблемы так называемого русскоязычного населения. Какие виды ее решения лично вы видите?

Вот оно что, придется держать ухо востро. Следить изо всех сил за политкорректностью выражений, но отвечать по существу. У староевропейцев не должно быть никаких иллюзий по этому вопросу.

– Я вижу только одно решение, к сожалению: выдавливание русскоязычных в Россию. Пусть забирает своих.

– Но отчего среди вас, эстонцев, так мало сторонников хотя бы постепенной ассимиляции русского населения?

– К огромному огорчению всех эстонцев, и моему в том числе, существует недопонимание между Балтией и другими странами ЕС. Увы, нас, эстонцев, понимают только латыши, собратья по несчастью, даже литовцы демонстрируют слишком короткую историческую память. Вопрос с русскими совсем особый вопрос. Историческая вина русских оккупантов перед эстонским народом слишком велика, чтобы это удалось предать забвению. Мы

ведь по сути гостеприимный сердечный народ. Разве мы не предоставляем приют множеству мусульман-мигрантов?

А попробуй не предоставь. Такой вой по ЕС подымется. Но этого, конечно, говорить не нужно.

Девушка внимательно слушала Анне, однако что-то было не так. Но что?

– Мы рады тем, кто не делал нам зла. Но сколько бы русские, такие есть, ни пытались забыть свой язык и приспособиться под наши требования бытовой культуры, разве мы можем забыть, как в середине прошлого столетия они навязали нам кровавый коммунистический режим?

Этот прием всегда проходит. Что тут можно возразить?

– Поменьше надо было с большевиками в девятнадцатом году сговариваться, как Юденича продать³⁴, глядишь и навязывать бы было нечего.

Какой такой Юденич? Ах, девятнадцатый год!

– Но ведь большевики тогда уступили нам территории!

– И тогда были хороши.

Только сейчас Анне поняла, что девушка говорит по-русски.

– *Mina ei gaagi vene!*³⁵ – с непонятным для себя испугом воскликнула Анне. Подумав, распоясавшаяся русская девчонка, прикинувшаяся социологом. По юности лет русские любят выкидывать такие фортели, но их куда как быстро обламывают. Пустое брюхо только в восемнадцать лет романтично, в двадцать уже очень даже хочется кушать. Пара таких вот случаев, зафиксированных полицией, и проблемы с трудоустройством гарантированы. А родителям быстрее надоедает кормить взрослое дитя, чем ругать власти у себя на кухне. Потому что еды на этой кухне не так уж много.

Но, успокаивая себя, Анне продолжала нервничать. Вот глупость! Русская нахалка одна, хлипкая, щелчком перешибешь.

– Все вы очень даже **рааги**, когда вам надо.

Девушка запихнула в карман уже ненужный ей компьютер. Вновь бросилась в глаза неловкость в движении ее левой руки.

– Что это за вторжение? Оно противозаконно! – Анне сделала три шага по направлению к окну, словно бы отступая от госты.

– Стоять на месте! – Из правого кармана просторной курточки выскочил револьвер. – Стоять и не смей подходить к сигнализации!

Но не револьвер, еще неизвестно, настоящий ли, испугал Анне до дрожи в руках. Откуда этой малолетней негражданке знать, где расположены кнопки?! Это просто невозможно, такого не может быть! Случайное совпадение, болтает просто так.

– Какая сигнализация? Никакой сигнализации в доме нет.

– Нет, кроме кнопки рядом с кнопкой поднимающей жалюзи и фальшивого выключателя. В самом деле немного. А ты меня вправду не узнаешь?

Рука с револьвером стояла легко, без напряжения и без дрожи, уж Анне ли не разобраться. Левая рука между тем застегивала карман с компьютером, не без некоторого труда. Двигались всего три пальца. Два крайних, оцепеневшие в чуть согнутом положении, были странно неживыми.

– Нет!! – На лбу Анне выступила ледяная испарина. – Это не ты!

Между тем она была она, даже не слишком изменилась внешне. Разве что волосы теперь длинные, а тогда была короткая стрижка, чуть начавшая отрастать, непонятного от грязи цвета.

³⁴ ...как Юденича продать... – в 1919 году Северо-Западная добровольческая Армия (СЗА) была предана эстонскими союзниками, пошедшими на тайный сговор с большевиками в Дерпте (Тарту), за спиной защищавших их белогвардейцев.

³⁵ Я не говорю по-русски (*эст.*).

Такая же маленькая, лицо не слишком повзрослело. Тогда оно даже казалось старше, отекшее, больное. Рука, забинтованная серой тряпкой в пятнах засохшей крови, взрослый старый ватник поверх легкой футболки – ведь похищали-то ее летом, а на дворе стоял ноябрь. Плохое, глухое время – деревья лишились последней «зеленки», работать не сезон. Анне потому и приехала погостить к Ахмету. Девчонку она видела всего несколько раз, может, и больше, не обращала внимания. Но запомнила неплохо.

Но именно воспоминание о жалкой девчужке с испуганно втянутой в плечи головой и мешало отождествить ее с этой уж слишком спокойной девушкой.

– На нашем оккупантском языке ты и болтала с ним, когда трахались. И торговались вы на нашем языке.

– Но ты же не русская! – воскликнула Анне.

– Ты даже это вспомнила, – девушка улыбнулась почти приветливо. – Моя мать была русской, тебе не понять. В русской крови чего только не намешано, все в дело идет. Назови на спор хоть одного гениального эстонца, хоть ученого, хоть композитора. Только не надо мне Ристикиви³⁶ впаривать, у нас таких классиков в каждом издательстве девать некуда. Квадраты вы моноэтнические, прямо как у Маркеса, что у таких в конце концов дети с хвостиками рождаются, как хрюшки³⁷.

Ладно, пусть плетет хоть про Маркса, хоть про Ленина, главное, что сама идет на контакт. Это азбука, чем дольше общение, тем труднее выстрелить. Невелик профессионализм натренироваться в тире, есть вещи поважнее. Заболтать, подойти поближе, раз уж она знает про сигнализацию, то просто сцепиться и выкрутить руку. В драке справиться с соплячкой будет легче легкого.

– Это все было так давно... А теперь вдруг претензии. Что же ты делала несколько лет?

– Я училась, – девушка покуда была настороже. Приблизиться рано.

– Училась, вот как? – Анне изобразила доброжелательный интерес. – Чему?

– Чему я училась? – Девушка улыбалась. – Я училась квалифицированно ненавидеть. По усложненной программе. Года бы на такое не хватило. Чего стоил курс отслеживания всех возможных вариаций Стокгольмского синдрома. Я ведь думала, у меня его никогда и не было. Но это всего лишь самомнение неспециалиста. Был. Ох, и мало умеющих ненавидеть грамотно.

– Но почему меня? Почему ты ненавидишь именно меня?

Она сумасшедшая. Самая настоящая сумасшедшая. Это не очень хорошо, у сумасшедших иногда физическая сила не соответствует мышечной.

– Тебя? Вот еще глупости. Всех, кто там был. Всех, кто мог бы там быть, что в конечном счете одно и то же.

– Но пришла ты ко мне. А ведь я, в конце-концов, там была чисто случайно, я же не чеченка. Это всего лишь бизнес.

– И не самый убыточный, не так ли? – Девушка резким кивком указала на диван, покрытый стильной накидкой – ультрамариновой с геометрическими оранжевыми узорами. – Сто долларов рядовой, триста-четыреста – офицер. Если считать в рядовых, во сколько убитых обошлась эта тряпка? Человека в три, ја? Недешевая вещица. Сколько ребят не вернулось домой из-за того, что ты устроилась на деревце со своей оптикой. Ради того, чтобы ты обставила вот эту квартиру. Да тут крови по колено.

– Нет-нет, ты ошибаешься! – Анне следила за лицом, не позволяя выплеснуться страху, зная, что это равно несомненной гибели. Но пот стекал по позвоночнику под легким пеньюаром, крупными каплями проступал на ладонях. – Я совсем недолго была в Чечне! Я полу-

³⁶ *Ристикиви, Карл* — эстонский писатель-беллетрист XX века, считается классиком эстонской литературы.

³⁷ В романе *Габриэля Гарсия Маркеса* «Сто лет одиночества» поднимается тема генетического вырождения.

чила большие средства по реституции, на территории дома моей бабушки построили большой завод! Я могу возместить тебе моральный ущерб! У меня счет в банке!

– Это у меня счет в банке, дура хуторская. – Девушка на глазах делалась взрослее и увереннее, а главное, по-прежнему следила за дистанцией. – Ты мне вообще случайно попалась, но уж раз я здесь, значит, все о тебе знаю. Деньги ведь решают многие проблемы, не так ли? Но не все. Жизнь на них не всегда можно купить.

За сигнализацией девушка тоже следила, вернее, следил ее револьвер. Анне отчего-то подумала о соломенной трапедии, которую хотела повесить на Рождество в гостиной вместо установки банальной, слишком уж общеευропейской елки. Этого не будет, теперь она отчетливо понимала. Дело не в девчонке, не в ее револьвере, а в чем-то еще, в этом странном нелепом убеждении, что сопротивляться бессмысленно, потому что час настал. Так вот почему люди иногда так странно ведут себя перед смертью!

– Ты меня хочешь убить? – Анне не узнала своего голоса, уже мертвого, пустого.

– Я тебя убью. Совершенно бесплатно. Отойди-ка вон туда, к эстампу.

Снайперство вправду всегда было для Анне только бизнесом, она никогда не разговаривала со своими жертвами, никогда не видела их вблизи живыми. Но сколько раз ей доводилось слышать эту интонацию. Какое различие, где убить, посреди комнаты или у эстампа? Никакого. Но тот, кто убивает вблизи, отчего-то часто приказывает. Безо всякого смысла, или смысл все же есть?

Понять Анне не успела.

Девушка в розовой ветровке, вдруг вновь став очень невзрослой, подошла и внимательно наклонилась над телом рослой эффектной женщины в чернокружевном пеньюаре. Загорелые и накачанные ноги раскинулись в высоком, как газонная, травка ворсе ковра. Невзрачность пегих волос удачно скрыта хорошей стрижкой и мелированием.

Некоторое время девушка стояла и смотрела, а затем вытащила из еще одного кармана пластиковую плоскую баночку с мокрыми салфетками для монитора. Все, чего могли коснуться ее руки, она протерла быстро и очень тщательно.

Париж, май 2048

– Вы слишком молоды, отец, чтобы понять, какая банальная мелодраматическая коллизия у нас с вами получается сейчас! – Женщина затянулась своей привычной папиросой. – В годы молодости моих родителей снимали множество фильмов, в один из которых мы просто напрашиваемся в персонажи. Старая грешница, смягчившись сердцем, рассказывает историю своей жизни молодому celibатному священнику, исполненному самых высоких устремлений. Красивому, разумеется. В те годы кино необычайно романтизировало католический celibат. Это, конечно, было до того, как запретили снимать фильмы о христианстве, оскорбляющие чувства еврограждан-мусульман, а затем и кино вообще.

Священник не обратил никакого внимания на иронию ее слов. Это-то как раз было ему привычно и укладывалось в специальный психологический термин «ритуал защиты». Необычной, даже теперь, была история этой огромной души, обугленной в юности, способной находить жизненные силы лишь в ненависти.

– Вы сказали, что с этого дня произошла какая-то перемена? – негромко спросил он.

– Не в душе, должна вас разочаровать. В теле.

– То есть?

– После плена я перестала расти. Чем меня только ни пичкали доктора! Уж само собой считалось, что я так и останусь ростом метр пятьдесят. А с восемнадцати до двадцати я вдруг махнула на пятнадцать сантиметров. Даже обмороки были от такого быстрого роста. Ну и потом еще сантиметра на три за полтора года.

– Хорошо хотя бы, что не каждая подобная история прибавила вам росту, – священник улыбнулся и на мгновение стал моложе своих тридцати трех лет. – А то вы были бы с Эйфелев минарет.

– Они и без этого пугают мною своих младенцев, – женщина выпустила колечко дыма. – К сожалению, зря.

– Вы никогда не убивали детей? – интонации, заскользившие в голосе священника, походили на пальцы врача, осторожно приблизившиеся к предполагаемой опухоли.

– Увы, хотя это «увы» вас и шокирует. Глупо не убивать их, но я позволяла себе делать подобные глупости. Вернее – не делать.

– Все дети жестоки, – тихо сказал священник. Он сидел напротив Софии, привычно прикрывая глаза лодочкой ладони. На его шее не было ленты эпитрахили, просто сработал въевшийся в плоть и кровь навык: когда рассказывают *такое*, он не вправе видеть лица.

– Это другое. Собственно говоря, они и не дети в нашем смысле слова. Просто особи, не достигшие взрослого размера и способности к регенерации. Душа и интеллект у них не растут лет с пяти, только увеличивается количество усвоенной информации. Впрочем, трудно сказать, дети у них не дети или же взрослые не взрослеют до различения добра и зла. Вы скажете, попади их ребенок в добрые руки, его можно воспитать нормальным человеком. Знаю, что скажете. Они рады-радехоньки, чтобы мы думали именно так. Сами-то они уверены в другом. Там, где я была в детстве, они почитают себя мастерами *евгеники*. Кого с кем скрестить для лучшего потомства. Храбрых с умными, скромных с жизнерадостными, все свойства *тэйпов* на учете. Только в итоге всех их генетических упражнений результат почему-то один – убийца и бандит. Эти евгенические шедевры надо душить в колыбели, а еще лучше – в утробе. А еще лучше – в семени.

Священник уже привык к этой странной манере своей собеседницы – наполненные яростной страстью слова она произносила спокойным прохладным голосом, голосом, вовсе лишенным эмоций. Чем горячее были слова, тем холодней делался голос.

– Но что же вас удержало от греха, который вы почитаете за благо?

– Мое собственное правило: нельзя уподобляться им, ни в чем. Я вот только что вам рассказывала, как эстонка пыталась меня заговорить. Они знают: чем дольше с человеком говоришь, тем трудней в него стрелять.

– Но разве это не так?

– Так, для ей подобных. Логика наемного убийцы – нельзя видеть в жертве ничего, кроме неодушевленного предмета, абстракции, мишени. А моя логика обратная. Надо смотреть в глаза, надо *видеть*. Видеть, кого убиваешь. Только так можно взять на себя ответственность. А если ты не можешь убить, глядя в глаза – значит, и не стоит этого делать. Вообще не стоит, так ведь тоже случается.

– Но ведь это очень тяжело.

– Отец, да кто же сказал, что надо облегчать себе задачу убивать человека? – Старая женщина улыбнулась. – Но мы отвлеклись, логика той снайперши – действительно бизнес, наем. А тем-то как раз не трудно разговаривать с жертвами, они получают огромное удовольствие. Знаете, они ведь часто эякулируют, перерезая горло жертве. Возникни у меня самое большое желание им уподобиться – я не сумела бы испытать оргазм, выпуская пулю. Но коль скоро они могут убивать наших детей – мы не должны убивать их детей. Вопреки логике и здравому смыслу, себе в ущерб. Над чем вы смеетесь, отец?

– Вы обидитесь, но мне решительно безразлична теоретическая надстройка там, где важен результат.

– Так говорил и отец моего мужа.

Электронные часы показывали час. Только по мелькающим зеленым циферкам и можно было узнать в подземелье – день или ночь снаружи.

– Правда ли, что он был православным священником, Софи? А вы крещены в православии?

– Какой иезуитский подступ. Крестил меня не свекор, а тетка по матери, еще в младенчестве, отнесла в церковь. К великому неудовольствию еврейской родни.

– Они были иудеи?

– Они были советские люди, если природу этого исторического феномена можно объяснить. Они считали любую религию чем-то вроде блажи. Моя бабушка, мать отца, к тому же была врачом. Ей вообще представлялось прежде всего негигиеничным куда-то ребенка носить и во что-то макать.

– Да нет, не так, чтобы я этого вообще не представлял. Но на Западе было хуже, был единый сплав материализма с религией. Но что ваш свекор?

– Он был священником, и думаю, желал бы иной жены своему сыну, совсем иной. Леонид Севазмиос... он-то понял и принял, что детей не будет. Что я не могу иметь детей в мире, где не способна поручиться за их безопасность. Мой отец так и не пережил случившегося со мной – сгорел в сорок пять лет от какого-то града болезней. Они вспыхивали одна за другой, по две подряд, то сердце, то печень, то сосуды... А ведь он годами не болел даже гриппом. Словно организм сам себя подрывал. Мне безумно жаль его, но оказаться на его месте я бы ни в коем случае не хотела, нет. Не хотелось бы мне, впрочем, быть и на месте отца моего Леонида. Дело даже не во мне и не в нерожденных, незачатых внуках. Для отца Димитрия, так свекра звали, было страшным ударом обнаружить, что единственный сын, для которого он также желал духовного поприща, под вывеской торгового дома своего дяди занимается поставками вооружения. Очень, мягко скажу, нетипично для грека! Греки ведь в то время, как и почти всегда, вели себя довольно шкурно. И они несомненно полагали, что их-то исламизация Европы не затронет! Смешно, но по сути этот непрактичный вздорный мальчишка, как воспринимала Леонида родня, был попросту куда практичнее и разумнее их всех. Он имел личные средства, доставшиеся от матери, и все их, не спросясь, потратил. Скандал был еще тот, криминал в респектабельнейшей семье. По счастью, мы повстречались, когда это уже стихло. Ну да все это отдельная история, как-нибудь расскажу, может статья. Скажу одно только, свекор примирился с деятельностью Леонида, когда сын сказал ему всего одну-единственную фразу: «Если бы вчера ты миссионерствовал, сегодня мне не пришлось бы покупать оружия».

– Как католику, мне довольно горько об этом думать. Был момент, когда православие могло спасти Европу от ислама. Все те же грабли, на которые наступил Второй Ватикан: когда Церковь идет путем послаблений, чтобы удержать паству, люди в один прекрасный день начинают тосковать по жестким регламентациям³⁸. Последняя судорога духовности: скажите мне, чего нельзя! Ну в самом деле, что это за Великий пост – не наедаться в Страстную Пятницу «до отвала»? Тут бы православие и перехватить уставших от вседозволенности католиков, никогда не знавших строгости протестантов! Но русской диаспоры было слишком мало, а греки действительно не миссионерствовали. А вот ислам, ислам наступал. Так что упрек вашего мужа был в известной степени справедлив, увы. Но в те времена еще были возможны Крестовые походы. Ведь он пришел не к безверию, а к воинствующей вере?

– Да, он оставался верующим.

– Но вас не сумел обратить к Богу, – теперь отец Лотар уже не спрашивал, а утверждал.

– Что делать, он впитал веру с молоком матери, а я... Вы, отец, быть может, вообще не можете толком понять, отчего меня потянуло вдруг на подобные разговоры. Вы, конечно,

³⁸ Только в одной Дании в период 1990—2000 гг. ислам приняло, по самым скромным подсчетам, от 3 000 до 5 000 европейцев. Первый канал датского телевидения начал в 2004 году трансляцию пятничных проповедей из мечети Копенгагена. На датском языке проповедует имам Абдольвахид Бедарссен, датчанин. В Германии число обращенных в ислам этнических немцев составляет от 13 000 до 60 000 человек, причем число обращенных за 2003 год вдвое увеличилось в сравнении с 2002 годом.

слишком тактичны, чтобы сказать, такое, мол, со многими случается после семидесяти лет. Но разуверьтесь, если так. Я ведь всю жизнь иду со смертью под руку, нет, спасение собственной души мне по-прежнему довольно безразлично. – София поднялась и, скрывая волнение, начала стремительно мерить шагами маленькое помещение. Отец Лотар в который раз подивился тому, как юна ее порывистая походка. – Поймите, у таких старых солдат, как я, есть особое чутье. Я, быть может, думаю сейчас о вопросах веры больше, чем за всю предыдущую жизнь, единственно потому, что что-то чую... Мне это для чего-то нужно, вернее нет, скоро будет нужно, причем в самом конкретном смысле... Глупости болтаю, как можете понять вы, если я толком не понимаю сама.

– Софи... мне не важна причина, – священник в свою очередь поднялся, и они стояли друг против друга в странном внутреннем напряжении, словно два дуэлянта. – Я рад, что к вам приходят эти мысли потому, что вам вправду есть о чем задуматься.

– Право? – Женщина усмехнулась.

– Вам не приходит в голову, Софи, что наличествует некоторый логический сбой? Смотрите, как все выглядит с вашей стороны. Вы – по-прежнему материалистка, не думайте, я не ободряюсь фактом наших бесед. Итак, вы – материалистка. Я – идеалист, мистик, чем бы вы там меня ни называли про себя, прежде всего человек, витающий в заоблачных абстракциях.

– Допустим, – женщина выбила из небрежно надорванной пачки новую папиросу. Она улыбалась.

– Но отчего же, в таком случае, из нас двоих я имею практическую цель, а вы – нет? Я давно хотел об этом сказать, честно говоря, боялся.

– Господи, какой же вы еще мальчик, Лотар. Неужели вы думаете, что существуют такие слова, которые могли бы меня сломать? Говорите.

– Сколь бы иллюзорной ни казалась вам моя цель, но она существует, она реальна, и, еще раз повторю, она имеет практическое свойство. Литургия должна быть. Покуда есть хоть один священник, хоть одна капля виноградного вина и хоть одна горсть пшеничной муки. Ради этого мы гибнем, ради этого идем на мучения. Но у вас, у всего Сопrotивления, цели нет. Война не может быть целью, она может быть только средством. Но вы не можете не понимать, что Европу уже не отвоюешь. Война, которую ведет Сопrotивление, уже не одно десятилетие проиграна, проиграна полностью.

– Это правда, отец. Как видите, жестокие истины не заставляют меня рвать на себе волосы.

– У вас есть разветвленная конспиративная сеть, есть центры подготовки, есть каналы доставки боеприпасов. Есть, я так полагаю, банковские счета за пределами Еврабии, не за красивые глаза же китайцы поставляют солдатам Маки свою пиротехнику. Но цели, цели у Маки нет! Война ради войны, и только. И на ней гибнут сотни людей. Этот мальчишка сегодня рисковал своей юной жизнью ради того, чтобы стало меньше всего лишь одним мусульманским мерзавцем. Но в конце концов счета истощатся, истощатся запасы военных складов, убежища будут раскрыты, последний из вас будет казнен. Мусульмане победят окончательно.

– В конце концов виноградники вырубят, убежища будут раскрыты, последний Миссал³⁹ будет уничтожен, последнего священника убьют. Мусульмане победят окончательно. – В глазах Софии словно плясал веселый черный огонек.

³⁹ *Миссал* – богослужебная книга Западной Церкви, содержащая чинопоследование мессы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.